

Юрий АЛЯНСКИЙ

А.Б.В.

СНИМАЕТ
МАСКУ

Юрий АЛЯНСКИЙ



СНИМАЕТ
МАСКУ

МОСКВА
«КНИГА» 1980

В своей книге «А.Б.В. снимает маску» писатель Юрий Алянский рассказывает о некоторых современных исследованиях советских ученых, архивистов, собирателей. Их усилия привели к раскрытию ряда важных имен и обстоятельств в истории нашей отечественной культуры, не поддававшихся разгадке более столетия. А перипетии этих поисков носят зачастую детективный характер.

Среди героев книги — академик Б. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа; старший научный сотрудник Архива Академии наук СССР Е. С. Кулябко; доцент Ленинградского института культуры имени Н. К. Крупской С. М. Осовцов; крупнейший советский собиратель рукописей и старой книги М. С. Лесман.

Помещенные в книге документальные рассказы рассчитаны на широкий круг читателей.

**Мы вопрошаем и допрашиваем
прошедшее, чтобы оно объяснило нам
наше настоящее и намекнуло о нашем
будущем.**

В. Белинский



астоящее
время

1.

Рукописи минувших эпох и старые книги пахнут тленом. Бумага, когда-то плотная, блестящая, эластичная, стала сухой и жесткой. По краям листов разлились бурые потеки, «лисьи пятна», фоксинги — их природы ученые разгадать не могут. Переворачиваешь лист — и раздается треск, будто рвется кусок ткани. В первые минуты знакомства кажется, что они мертвы — пропыленные книги, пережившие свое время, старые письма, отправленные и полученные в годы, когда не существовало еще ни почты, ни марок: безжизненные сухие листья страниц, жухлая трава порывевших чернильных строчек, да слова, начертанные с твердыми знаками и ятями. Кажется, что эти бумаги — бледный отпечаток своего времени, археологическая окаменелость. Перекинется ли мост между нами и запечатленным здесь прошлым? Удастся ли отзвукам давно отшумевших драм тронуть ум современного читателя? Протянется ли из этого вороха имен и фактов нить, нужная современному познанию?

Глаза сегодняшнего читателя, привыкшие к шрифту пишущей машинки, спотыкаются на выцветших строчках рукописных текстов. Хорошо, если это короткая надпись на титульном листе книги: «Из книг Михайлы Лермантова» или «Илье Ефимовичу Репину от уважающего его автора. Н. Лесков». Но как быть с многопудовыми фолиантами рукописей? К геометрии округлых линий писаря-каллиграфиста привыкаешь сразу. Но вот письма, начертанные беглой, небрежной рукой; не имея склонности к графологии, попадаешь в плен

таинственных закорючек, небрежно наштабированных линий — кажется, что они могут относиться к любой письменности, вплоть до клинописи. Неразобранная фраза или даже одно-единственное слово в старой рукописи, за чтение которой ты взялся, — не беда, а позор — утверждают специалисты-текстологи. Но как быть, если ты не текстолог, а просто заинтересованный читатель, пришедший к этим письменам из другого времени?

Начинается кропотливая работа по изучению индивидуальных особенностей почерка. Разобрав с грехом пополам одно слово, стараешься запомнить конфигурацию и начертание входящих в него букв. Потом ищешь подобные фигуры в других словах и радуешься, что автор текста верен своей небрежности и одинаково пишет свои «с» или «ж». Составляешь слова и фразы, как картинку из детских кубиков. Одна страница может отнять полчаса. Но страниц — тысячи, и почерки меняются. Поэтому на следующем же листе, при знакомстве с другим письмом, весь твой с таким трудом налаженный сравнительный анализ летит прахом. Всё надо начинать сначала. Идет единоборство между увлеченностью, стремлением довести дело до конца и нетерпением, желанием бросить начатое на полдороге. Но именно от исхода этого поединка зависит, останешься ли ты с тем, с чего начал, или странным образом испытываешь на себе таинственные свойства времени.

Строки, написанные гусиным пером на плотной бумаге, в определенный момент оказываются более фантастическими, чем какая-нибудь фотонная ракета. Читаешь их в настоящем времени — и оно неожиданно начинает совпадать с настоящим временем описываемых событий: днем и часом трагедии на Сенатской площади или сумеречным часом дуэли на Черной речке. Твои ощущения начинают сиюминутно совпадать, отзываться или сопротивляться чувствам писавшего —

веселости или гневу, высокомерию или униженности. Вникнув глазами в эти строки, становишься современным Радищева, вскрывшего язвы своей эпохи, или Гоголя, со слезами осмеявшего свое время. Станным образом перевоплощаешься в автора или адресата когда-то срочного, веселого или отчаянно-грустного письма. И сегодняшнее настоящее время, что течет за стеной библиотеки или архива, время на часах у людей, что летают на самолетах и пишут короткие письма с обращением: «Ув. тов.» или «Гр...», не имея лишней минуты или эпистолярной традиции, чтобы начать иначе: «Милостивый государь, любезный друг...» — это время отступает куда-то. Ты сейчас далек от него; живешь в те дни, когда написаны читаемые тобою строки. И современная гипотеза о том, что скорость течения времени относительна, подтверждается.

Впервые я вырвался из своего настоящего времени в иное, когда в нежном возрасте, сидя на полу, вырезал восхитившие меня картинки из редких ныне изданий сказки «Василиса Прекрасная» и пушкинской «Сказки о царе Салтане», в обоих случаях — с рисунками И. Я. Библина (издание Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1902 и 1905 гг.). Удивительно ясно помню острое художественное впечатление от рисунков Библина, восторг от встречи с тридцатью тремя богатырями, Царевичем, Царевной-Лебедью, желание проникнуть за ворота сказочного города на острове Гвидона. Полвека жизни не смогли затмить этих радостных минут детства.

Ту же страшную процедуру проделал я и с любовно переплетенным комплектом «Сатирикона» за 1910 год. Все эти издания были обнаружены мною в библиотеке отца. Оставляя в замке ключ от своего книжного шкафа, отец, очевидно, не предполагал, что гены деда-переплетчика сработают во мне «наоборот».

Не исключено, впрочем, что Василиса Прекрасная и

Царевна-Лебедь стали первыми объектами моего заинтересованного мужского внимания. Так или иначе, но вот еще одна причуда времени: «Василиса Прекрасная» и «Сказка о царе Салтане» с вырезанными и вложенными между страниц рисунками Билибина и сейчас стоят на полке; а многие, очень многие нетронутые мною книги из того шкафа не пережили войны и блокады Ленинграда.

Очень удачно, что я со своими ножницами не добрался тогда, в далеком моем детстве, до именного нумерованного экземпляра «Двенадцати» Блока, каких несколько имелось в нашей семье. Сохранились и другие блоковские книги, украшенные с детства знакомой мне маркой издательства «Алконост». Родной брат отца, мой дядя Самуил Миронович Алянский, издатель и близкий друг Блока, создатель «Алконоста», стал позднее одним из первых моих проводников в мире книг и рукописей.

Потеряв в блокадном Ленинграде жену и сына, С. М. Алянский переехал с дочерью в Москву. И вот, работая на склоне лет над книгой «Встречи с Александром Блоком» (этот скромнейший человек всю свою жизнь набирался духу написать ее), он конечно не думал, что его книгу, названную в подзаголовке «из записок издателя», Константин Федин назовет иначе: «записки, незаурядные для истории нашей литературы»; и еще скажет о них: «Воспоминания Алянского дороги, прежде всего, как история фактов удивительной жизни от наивысшего взлета до трагедии смерти. Всё неоспоримо. Всё правдиво до безжалостности».

В процессе работы над этой книгой С. М. Алянский попросил меня помочь ему отыскать в ленинградских хранилищах некоторые материалы, связанные с жизнью поэта. Я был горд поручением и азартно взялся за дело. В Ленинградском кинофонофотоархиве посчастливилось обнаружить серию прекрасно выполненных сним-



Левкий Иванович Жевержеев

ков похорон поэта, а в Ленинградском театральном музее — альбом известного ленинградского библиофила и собирателя Л. И. Жевержеева, где обнаружились, в частности, стихи Блока.

«Только что получил от тебя фотографии, — писал С. М. в феврале 1969 г. — Это просто чудо. Фото пролежали в неизвестности 48 лет. Скажу откровенно — они взволновали меня. А на такое качество и рассчитывать не мог. Хорошо узнаются на фото Андрей Белый, Ю. Анненков, К. Петров-Водкин, вдова поэта, Ю. Верховский и автор этого письма...»

События, связанные с просьбой С. М., привели меня к альбому Жевержеева, а сам альбом — к попытке восстановить судьбу замечательного человека, пожалуй, основоположника советского собирательства материалов по театру. Его уникальные коллекции и легли в основу фондов ленинградских театральной библиотеки и театрального музея. Левкий Жевержеев первым попытался остановить и сохранить во времени ежевечерние мгновения русского и советского театра.

2.

Жевержеев взволнованно ходил по комнатам своей обширной квартиры в Графском переулке, смотрел на высокие книжные шкафы и полки и думал о том, что ему теперь будет не под силу сберечь бесценные памятники, собранные за многие годы. В соседних домах происходили какие-то перемещения, какие-то люди вселялись в бывшие барские квартиры, представители новой власти разговаривали спокойно, но на боку у каждого из них висела кобура.

Большие перемены происходили и в городе. Распахнулись двери Эрмитажа, Русского музея, знаменитых петроградских дворцов и особняков, где таились несметные художественные сокровища. Революционное правительство сразу же распорядилось об их охране. Матросы с пулеметными лентами через плечо и с винтовками в руках встали на посту у картин в роскошных эрмитажных залах. Но у революции возникало слишком много срочных и важных дел для того, чтобы быстро наладить учет и охрану всех художественных и культурных ценностей.

Ценностям своей коллекции Левкий Иванович Жевержеев вел строгий учет с 1900-го года, когда в девятнадцатилетнем возрасте он начал собирать книги по театру, экземпляры пьес, в том числе и рукописные,

театральную иконографию, памятники театрально-декоративного искусства. Русский театр на пороге двадцатого века нашел в лице Жевержеева своего преданного архивариуса, биографа, почитателя, слугу.

Держать все эти сокровища под спудом не входило в планы Жевержеева и не было в его характере. И вот в декабре 1915 г. в здании на Марсовом поле открылась выставка «Памятники русского театра», целиком состоявшая из экспонатов знаменитой коллекции. Жевержееву предстояло в своей жизни организовывать множество интереснейших выставок на основе своих собраний. Но эта явилась первым большим показом частной коллекции государственного масштаба и значения. Один из журналистов того времени назвал ее организацию «попыткой реставрировать разрушенные реймские соборы режиссерских постановок и театральных декораций». За короткий срок существования выставки — пятнадцать декабрьских дней — в петербургских и московских газетах и журналах появилось 50 статей и заметок о ней.

Книжное и художественное собрание Левкия Ивановича разрасталось. Возник вопрос о создании для него экслибриса, притом не одного, а четырех — для каждого из разделов собрания: русская литература, искусство, библиография, русская история. Художник Д. Митрохин сделал экслибрис для еще одного раздела библиотеки — «запрещенные книги»: изобразил двухглавого коронованного орла, разрывающего книги и рукописи. Цензура, естественно, запретила печатать такой экслибрис, и он только в образцах пополнил собрание отдела, для которого был предназначен. А Митрохин нарисовал другой: книги и рукописи, оплетенные цепями и запертые на замок. Этот многозначительный замок можно было трактовать как символ коллекционерской бережливости.

По этому поводу шутили и на «жевержеевских пятницах». Вот как вспоминает о них С. М. Алянский в книге «Встречи с Александром Блоком»: «...Там можно было

встретить поэтов и художников, актеров и режиссеров, композиторов и искусствоведов. Там я впервые увидел Велимира Хлебникова, молодых художников: Давида Штеренберга, Владимира Маяковского, который тогда выступал больше как художник, братьев Давида и Николая Бурлюков и других представителей искусства. Все они были люди молодые и шумные. Самым скромным и тихим на пятницах был сам застенчивый хозяин, которого никто из гостей не замечал. Он никогда не ввязывался в горячие споры, сидел где-нибудь забившись в угол, и молча внимательно слушал возбужденные, шумные речи, иногда только улыбнется или нахмурится...»

Всегда оставаясь самым скромным и тихим, Жевержеев умел незаметно, но активно способствовать многим творческим начинаниям. Знакомство на «пятницах» и дружба с Маяковским привели к тому, что в 1913 году, когда появилась первая пьеса поэта — трагедия «Владимир Маяковский», Жевержеев в качестве руководителя общества художников «Союз молодежи» всемерно помогал ее постановке в театре «Луна-парк» на Офицерской. Он же однажды спас спектакль от запрета.

Пьеса Маяковского чрезвычайно беспокоила петербургское начальство. На репетицию приехал полицмейстер (чин довольно высокий: в столице в этой должности состояло всего четыре человека; этот, вероятно, ведал искусством). Полицмейстер слушал странные слова, несшиеся со сцены, и не выдержав, подозвал Жевержеева:

— Скажите по совести, это действительно только футуристическое озорство и ерунда? Я ничего не понимаю. Нет ли за этим чего-нибудь такого... ну, крамольного? А? Сознаюсь, что придраться тут не к чему, но чувствую, что что-то не так... Вам-то что. А отвечать перед его превосходительством градоначальником мне!

А со сцены неслось:

Вам ли понять,
почему я,

спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несую
к обедню будущим лет.

Жевержееву удалось успокоить трусившего полицмейстера и убедить его, что ничего «такого» в пьесе нет, что это новое искусство ничего общего с политикой не имеет. Полицмейстер, зная Жевержеева как владельца парчово-ткацкой фабрики и магазина церковной утвари на Невском, был вполне уверен в его благонадежности. Спектакль разрешили...

И вот теперь, зимой семнадцатого-восемнадцатого годов, в Петрограде бурно менялась жизнь, и можно было допустить, что охрана пусть и уникального собрания театральных книг, альбомов, реликвий отнюдь не станет первостепенной задачей молодой революционной власти.

Через четыре месяца после революции, 1 марта 1918 года, Левкий Иванович сел за письменный стол и написал письмо Мейерхольду, одному из руководителей строительства молодой советской культуры:

«Многоуважаемый Всеволод Эмильевич!

Вам более чем кому-либо известна моя деятельность в области театра и искусства, почему я и решаюсь Вас беспокоить в трудную для себя минуту в полной уверенности, что Вы не откажете мне в Вашем содействии.

Обращаюсь к Вам, как к члену Гос. совета по театральным делам с просьбой ходатайствовать перед Анат. Вас. Луначарским о предоставлении мне, как работнику театра, тех же защитительных гарантий, кои предоставляются всем, даже выходным актерам театров, т. е. права на получение удостоверения, аналогичного с выданным всем артистам гос. театров, освобождающее от различных повинностей общественного характера, а также от реквизиций.

Я позволяю себе думать, что моя работа по разработке собранного мною материала по истории русского декоративного искусства и по истории театра вообще не менее ценна, чем работа любого рядового актера, и поэтому считаю себя имеющим право на такое же внимание к себе в смысле получения возможности более или менее спокойно работать в области истории театра...»

Письмо длинное, написанное наспех, взволнованно, не рассудочно, а эмоционально. Автор его просил не пайков, хотя они требовались ему не меньше других, а всего лишь возможности сберечь книги и всё то, что составило к тому времени его домашний музей.

Вскоре и, очевидно, в результате этого письма в доме № 5 по Графскому переулку, где находилась квартира Жевержеева, открылся Декоративный институт. В квартире Левкия Ивановича разместились библиотека и музей института, и огромное жевержеевское собрание памятников литературы и искусства стало, таким образом, государственным достоянием. Жевержеев был назначен заместителем директора института. В феврале 1922 года Жевержеев избирается действительным членом Российской академии художественных наук.

Вскоре Левкий Иванович стал заместителем директора Ленинградского театрального музея — здесь хранились теперь его сокровища и он чувствовал себя счастливым.

В 1937 году Л. И. Жевержеев опубликовал исследование «А. С. Пушкин в печатных и рукописных фондах Ленинградской театральной библиотеки имени А. В. Луначарского. Драматургические произведения А. С. Пушкина и различные переделки его сочинений для сцены (драма, опера, балет)». В своем труде исследователь выявил интереснейшие материалы и иконографию пушкинского театра; описал около 200 экземпляров пьес, переделок произведений поэта, печатных и рукописных

документов, оттисков, рисунков — большая часть этих памятников была неизвестна пушкинистам. Немалая часть материалов принадлежала его собственному собранию.

Через три года Жевержеев печатает работу — «К истории текста трагедии „Владимир Маяковский“», дав литературоведению серьезный текстологический труд.

А ушел он из жизни лютой голодной блокадной зимой сорок второго года...

3.

«Время идет для разных лиц различно», — говорил Шекспир. Мне хочется рассказать вам не только о книгах и рукописях, но и о людях, наших современниках, для которых книги и рукописи стали средством познания прошлого и формой прогнозирования будущего. Исторический документ в руках моих героев приобретает призывную силу только что полученной телеграммы. Давно отшумевшие страсти снова скрещиваются в яростных поединках. Конфликты прошедшего становятся борьбой настоящего времени. Трусость ничтожного, давно забытого человека и сегодня наполняет душу презрением. Храбрость героя, давно ушедшего в небытие, оживляет сердце, зовет к подражанию. Одна-две строки из старых архивных дел превращаются в современную драму, поэму или роман.

Замечательный человек и писатель Владислав Михайлович Глинка в разное время и в разных хранилищах нашел два документа — и они заставили его отложить насущные дела настоящего времени. Попадись эти исторические документы другому, они породили бы небольшую занятную публикацию в популярном журнале. Но в данном случае сошлось все необходимое для яркой вспышки творческой активности писателя. Я не знаю в Ленинграде другого человека, кто так досконально, точно и надежно изучил не только русскую историю

прошлого столетия, но и разнообразнейшие подробности петербургского быта, искусства, военного обихода, нравов всех слоев общества, как Глинка. И два удивительных факта далекого прошлого образовали в его сознании некое творческое силовое поле, расположив в строгом порядке факты, прежде разрозненные.

Вскоре после войны, став сотрудником Эрмитажа и работая в музейных фондах, Владислав Михайлович обнаружил гравюру. Подобных гравюр он перевидел множество. Но эта заставила приглядеться внимательнее. На листе бумаги был изображен офицер. Сверху стояло: «Храбрый полковник Непейцын». Внизу — пояснение: «Лишившийся ноги под Очаковым и оказав личную храбрость с отрядом от графа Витгенштейна — врубился первый в неприятельский центр, опрокинул и разбил его совершенно 9 сентября 1812 года у местечка Козьяны».

Было не совсем понятно, как мог офицер, без одной ноги, скакать верхом (бывший кавалерист Глинка знал в этом деле толк), да еще опрокинуть центр французов? Вопрос долгое время занимал исследователей. Но вот — новая случайность, которая, как известно, одна из форм проявления необходимости: в Архиве Академии наук СССР Владислав Михайлович обнаружил... чертеж протеза для ампутированной ноги. А при нем — запись: «Прошлого 1791 года в сентябре месяце по моему указанию сделана одна нога в Санкт-Петербурге артиллерии офицеру Непейцыну, лишившемуся оной в очаковском штурме выше колена...» Поражала и подпись: «Кулибин».

Всего два документа привели писателя к созданию большого исторического романа.

* * *

Судьбы книг и рукописей приводят нас в сокровищницы коллекционеров. Здесь тоже конденсируется время. Здесь кипят страсти...

О страстях человеческих написаны романы, трагедии, трактаты. Они вдохновляли живописцев и скульпторов, ими занимались историки и психологи. О наших же страстях говорят иной раз прокуроры и судьи. Явные и тайные, но всегда могучие, человеческие страсти питали поэзию, возбуждали войны, облагораживали человека или повергали его на самое дно жизни.

Среди множества страстей коллекционирование кажется самой тихой: сидит себе человек, запершись в комнате, склонился над столом и занимается предметом своего увлечения: марками, открытками, бабочками, антикварными безделушками, часами, камнями.

Это не совсем так.

Драматизм, заложенный в собирательстве, давно обнаружили и пытались исследовать писатели. Стефан Цвейг в одной из своих новелл рассказал о собирателе, тратившем на приобретение гравюр все средства семьи. К старости он ослеп. Жена и дочь, исчерпав средства к существованию, тайно продали почти все гравюры, заменив их в паспорту чистыми листами бумаги. Старик ничего не заметил. Когда появлялся гость, он требовал свои альбомы, гладил руками бумажные листы и по памяти называл гравюры, давно уже утраченные.

Коллекционеры нередко становятся персонажами детективных романов и фильмов, то пускаясь на преступление, то, чаще, оказываясь его жертвой. Драматизм собирательства — в переплетении счастливых минут с днями горьких потерь, когда кажется, что худшей беды не бывает, что ее не пережить; в восторге обладания, в вечном стремлении к новым находкам.

Частный собиратель не только тешит душу редкостными приобретениями, изучением собранных сокровищ. Нередко он играет роль добровольного агента государства, его разведчика в бескрайнем океане старых книг и рукописей. Коллекционеры — «щупальца» государственных хранилищ. Они первыми заинтересованно, оператив-

но и со знанием дела обнаруживают памятник культуры, подверженный, может быть, опасности. Найти такой памятник, распознать, купить или выменять — задача, далеко не всегда посильная библиотеке или архиву. Частная деятельность собирателей становится, по выражению Александра Твардовского, большим культурным делом. Говоря об одной московской частной книжной коллекции, Твардовский назвал процесс ее собирания «своеобразным литературным и научным подвигом».

Настоящий собиратель не станет распылять свое собрание, он обычно улучшает, концентрирует, обогащает коллекцию. И если он, повторяю, настоящий собиратель, человек, охваченный не стяжательской, а благородной, пламенной страстью — его коллекция рано или поздно, при его жизни или после смерти его потомков, станет доступной всему народу.

4.

«Три неизвестных человека проникли ночью с 20 на 21 число в наборню, где находился и склад некоторых прежних изданий, изорвали всё, что успели изорвать, рассыпали и смешали шрифт, вообще разрушили и испортили на довольно значительную сумму. Когда утром в воскресенье 21 ноября наши товарищи заглянули в наборню, картина хаоса разорванных листов и куч ссыпанного шрифта была довольно неприятна... Уничтожены были отпечатанные, но еще не сданные в брошюровку предпоследний лист пятой книги «Вестника» и один лист сборника статей А. И. Герцена из «Колокола», набираемого там же.

Кто сделал это безобразие? Кто мог его сделать?

Нападение имело явной целью нанесение вреда, а не похищение. Об обычных ворах нечего было и думать.

Нападение на наборню перед самым окончанием издания книги столь же явно указывало на намерение

помешать ее выходу. Кто мог иметь в виду эту цель?..»

Чем не начало детективного рассказа? Эти строки взяты из «Заявления товарищам и читателям», опубликованного в пятой книге «Вестника Народной воли», все же вышедшей в свет 15 декабря 1886 года в Вольной русской типографии в Женеве. На пороге тайны этого издания остановился в своих рассказах о книгах Н. Смирнов-Сокольский. Он знал о существовании четырех выпусков «Вестника». А о пятом судил лишь понаслышке и неточно и даже написал, что он, якобы, вышел в Париже. Собира- тель никогда не видел пятого выпуска «Вестника Народной воли», не держал его в руках.

Между тем пятая книга, неизвестная даже некоторым специалистам, оказалась первоисточником важнейших документов и исторических свидетельств. Настоящее время, запечатленное на страницах сборника, несколькими историческими узлами связано с нашим, а, возможно, и будущим временем. А уникальность книги связана с тем, что в связи с событиями, разыгравшимися ноябрьской ночью в «Вольной русской типографии», тираж издания пришлось, очевидно, резко сократить.

Пятая книга «Вестника» вышла в свет через три с половиной года после смерти Маркса. Поэтому примечательно, что на страницах книги впервые опубликовано на русском языке письмо Карла Маркса, задуманное, как ответ на статью в журнале «Отечественные записки» (в современном переводе с языка оригинала, французского, письмо напечатано в XIX томе Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. 2-е изд.). Можно предположить, что одной лишь публикации этого письма было довольно, чтобы побудить жандармов уничтожить тираж крамольной книги.

Листаешь страницы сборника — и тебя охватывает жгучий интерес к некоторым его материалам, желание узнать, в какой мере они известны сегодня, в твое настоящее время, хотя бы специалистам, в какой степени исполь-

зованы для практических научных целей? И когда узнаешь, что мера эта и степень эта — ничтожны, возникает желание сделать их достоянием читателей.

«...Мы пошли в таком порядке: впереди шел офицер Павловского полка, командир взвода, поручик Пильман, потом мы пятеро в ряд с обнаженными шпагами. Мы были бледнее преступников и более дрожали, так что можно было сказать скорее, что будут казнить нас, а не их. За нами шли в ряд же преступники.

Мы двигались вперед медленно, едва переступая, потому что преступники со связанными ногами не могли почти идти.

...Тут я один раз в жизни и видел виселицу. Это просто, братец мой, качели... Только вместо доски к перекладине на веревках людей подвешат.

...На кронверке во все время играла музыка Павловского полка. Я тебе говорил, погода была чудная, а тут солнце всходит и музыка играет...»

Это строки из помещенного в той же пятой книге «Вестника» рассказа помощника квартального надзирателя. Здесь имеется несколько загадок, которые, возможно, еще предстоит разгадать историкам.

Однажды в редакцию «Вестника» явился человек с большим свертком в саквояже. Развернув сверток, неизвестный достал из него рукопись. То были записки, относящиеся к 60-м годам и не нашедшие, как он рассказал, пристанища ни в одной легальной редакции России. Рукопись сильно заинтересовала издателей «Вестника», особенно, та ее часть, где содержалась документальная запись рассказа помощника надзирателя. Неизвестный, вручая рукопись, пояснил, что рассказ этот — подлинный, что его автор — «седой совершенно старичок с глубочайшими морщинами на лице; говорил старческим голосом, задыхался и имел пряжку за 50 лет службы, из коих 40 служил в полиции. Звали его Иван Герасимович Шипов». (Пряжка — знак длительной беспорочной

службы — ажурный прямоугольник с изображением дубовых листьев; под пряжку подкладывалась та или иная лента. — Ю. А.)

А особый интерес рассказа Шипова состоял в том, что старый полицейский оказался участником заключительного акта исторической драмы декабристов. Подробности той ночи навсегда запечатлелись в его памяти.

В юности Шипов учился хоровому пению у известного композитора Бортнянского, пел в его концертах, исполняя произведения церковной музыки. Потом служил в сенате и, наконец, стал помощником надзирателя.

С замечательными людьми, взошедшими на исторические подмостки в декабре 1825 года, Ивана Шипова свела... любовь. Был он тогда молод и ухаживал за хорошенькой дамой, Варварой Григорьевной. Случайно встретил ее в роковой день на Сенатской площади, когда уже стояли войска и гудели толпы народа. Шипов был в гражданской одежде. А Вареньке хотелось посмотреть на «парад» поближе, пройти в передние ряды сгрудившейся толпы. Шипов велел ей ждать, пообещав мигом переодеться в мундир и тогда провести ее в самый центр площади.

Но не успел он сделать и десяти шагов, как раздался картечный залп, крики, визг, слышались стоны умирающих. А вскоре, когда пальба стихла, среди обезображенных трупов он увидел бездыханной свою Вареньку. И на опустевшей площади плакал над ее телом.

Служба привела его на другую сторону баррикады. Выполняя приказ, Шипов долго сидел в засаде на квартире у князя Александра Ивановича Одоевского, того самого, что напишет «Ответ на послание Пушкина „В Сибирь“», и чью строку из этого стихотворения возьмет эпиграфом к газете «Искра» Ленин. Шипов не удержался и на исходе многодневного дежурства присвоил-таки прекрасные ботфорты скрывшегося хозяина дома. А князь Одоевский, повествуется в записках, вернувшись пере-

одетым и неузнанным, попросил убежища у своего дяди, Дмитрия Сергеевича Ланского. Тот запер племянника в своем доме, пообещав помочь, поскакал во дворец и выдал беглеца.

Дальнейшие события, связанные с казнью пятерых декабристов, Шипов излагает подробно и обстоятельно. Рассказывает, как священник, протопоп Казанского собора П. Н. Мысловский, напутствовал осужденных и принял от Рылеева медальон и крест для передачи жене и дочери; как полицмейстер управы благочиния Посников и «архитектор» Герней долго задерживали доставку не готовой еще виселицы. А Николай I, опасаясь волнений в войсках, скрылся в Царском селе и приказал каждые четверть часа присылать к себе фельдъегерей с известиями о том, что происходит на месте казни.

Потом состоялась казнь.

О том, как она происходила, существует большая литература. Основной же загадкой трагедии осталось место захоронения казненных. Установить его с исчерпывающей определенностью не удастся до сих пор. Между тем в записках Шипова имеется его разговор с братом, и этот короткий диалог еще в конце прошлого века, когда вышла в свет пятая книга «Вестника Народной воли», мог бы послужить указанием на этот счет:

«— Где же их похоронили? — допытывался брат у Шипова.

— Знаешь ты Смоленское кладбище?

— Ну, знаю.

— Там есть немецкое кладбище, а за ним армянское. Тут есть этакий переулочек налево. Вот мимо армянского кладбища и идти до конца переулочка. Как выйдешь к взморью, тут и есть. Тут их всех и похоронили. Ночью их вывезли с конвоем и мы тут шли. Распоряжался Дершау (полицейский полковник, вступивший в свои обязанности после окончания казни. — Ю. А.). Там потом в течение четырех месяцев караул стоял...»

Я подробно рассказал об этом редкостном издании, потому что находится оно в коллекции крупнейшего советского библиофила М. С. Лесмана.

Сначала я читал очерки в «Правде», посвященные ему, потом познакомился с их героем лично. Невысокий элегантный человек с пышной седой шевелюрой напоминает портреты норвежского композитора Грига. Впрочем, он тоже музыкант, окончил в свое время Ленинградскую консерваторию и всю жизнь работал пианистом и концертмейстером в ленинградских концертных организациях. Его собрание состоит, главным образом, из двух разделов: рукописи и старые, редкие книги.

Несколько лет назад М. С. Лесман подарил молодой Новосибирской публичной библиотеке свою тщательно собранную Лениниану — более пятидесяти изданных до революции трудов В. И. Ленина. Каждая из этих книг преследовалась в свое время цензурой и сегодня — библиографическая редкость. В ту же новосибирскую библиотеку собиратель передал свою обширнейшую коллекцию рукописей и печатных материалов по истории русского освободительного движения — от листовки, выпущенной Екатериной II и призывавшей к поимке Пугачева, до уникальных теперь документов Октябрьской революции и гражданской войны. В новосибирском «Фонде М. С. Лесмана» около 3 тысяч единиц хранения.

Беря наудачу книги со стеллажей в этой старой петербургской квартире на Петроградской стороне, можно обнаружить, к примеру, экземпляр пьесы А. М. Горького «Мещане», выпущенной издательством «Знание» в 1902 году. Издание отнюдь не редкостно. Но в книге — множество помет и исправлений красными чернилами. Сделал их петербургский цензор драматических сочинений С. Трубачев. Зачеркнута, например,

фраза: «А когда в зал вошла содержанка судьи Романова...» Нельзя все упоминать царскую фамилию. Зачеркнуто: «Пьяниц у нас любят. Новатора, смело-го человека — ненавидят, а пьяниц любят. Ибо всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-либо «крупное, хорошее». Зачеркнуты слова Бессеменова: «Время такое — страшное время. Всё ломается, трещит, волнуется жизнь...» И уж, конечно, перечеркнуты слова Нила: «Хозяин тот, кто трудится».

А вот — удивительный экземпляр «Советской азбуки» Маяковского. Рисунки в тексте — литографированы, раскрашены от руки.

«Советская азбука» написана в конце лета 1919 года. Маяковский принес рукопись в издательство. «Невычищенная» машинистка отказалась даже перепечатывать «эту гадость». Пришлось приняться за издание своей азбуки самому. Поэт сделал рисунки и подписи и перевел их на литографский камень. Сам и печатал. Потом Лиля Юрьевна Брик раскрасила каждый экземпляр от руки. Тираж издания — около тысячи экземпляров. Забрав пачки с «Азбукой», Маяковский и Л. Брик отвезли их в Кремль — поэт собственноручно раздавал свою книгу курсантам и краснофлотцам, уходившим на фронт. Потом делал то же самое на вокзале, при посадке солдат в эшелоны.

Из другого шкафа достаю томик стихов. Марина Цветаева. «Версты». Издано в Москве в 1921 году. Книга по понятиям библиофилов и букинистов, не такая уж редкая, попадает. Но раскрываю ее — и захватывает дух. Повсюду на полях — сделанные зелеными чернилами исправления и приписки. Почти все маленькие шедевры любовной лирики, собранные в сборнике, прокомментированы... автором! Оказывается, Цветаева держала этот экземпляр в руках незадолго до смерти, в 1941 году, и раскрыла на полях книги то, что зашифровано в стихах.

Под каждым таким комментарием, под каждым признанием, под дописанными строками стихов — «М. Ц.»...

Всё это — книги. Но святая святых — рукописный фонд. В папках — чья-то любовь, грусть, надежды. Письма к друзьям, деловым корреспондентам, женщинам. Посвящения и завещания. Просьбы, мольбы, угрозы, требования, безразличные извещения. Человеческие страсти и сейчас прорываются сквозь полувывцветшие строки.

«Милостивый государь Иван Александрович!
Сын Ваш... хуеет, кровью харькает, грустит...»

Это — из письма Екатерины Трубецкой, жены декабриста, легендарной «некрасовской женщины». Послано из далекого сибирского рудника отцу декабриста Якубовича.

«Целый день приходят посетители со всех концов Земли...» (И. И. Мечников — профессору Н. А. Умнову, редактору журнала «Научное слово».)

Лев Толстой — А. Ф. Кони: «Благодарю Вас очень за сообщение о том, что дело решилось в Сенате...»

Начинающий писатель Шатилов послал свой рассказ Алексею Максимовичу Горькому. И вот в Петербург пришло письмо с Капри, отправленное 14 января 1913 года:

«Милостивый государь,
Павел Николаевич!
Рассказ Ваш хорош...

...Однако эти качества Вы можете испортить многословием... Вам всё кажется, будто Вы говорите читателю недостаточно понятно, — эта неуверенность должна быть убита. Говорите кратко, просто, как Чехов или Бунин, в его последних вещах, и Вы добьетесь желаемого впечатления.

...Не навязывайте Вашим героям себя самого и не поучайте меня, читателя, дайте мне хорошие, точные, ясные образы, а до выводов я сам додумаюсь...»

Такие неизвестные прежде письма маститых писателей составляют наиболее ценное ядро собрания.

Молодой поэтессе отвечает поэт Игорь Северянин. Письмо написано 22 января 1927 года:

«Вы спрашиваете, что такое «отличные» стихи? В таких стихах полное сочетание темы, вдохновения (в наше время это большая редкость, заметьте), настроения, аллитераций, ритма и проч. Таких стихов, правда, очень мало, и даже у действительного поэта с крупным именем (таких имен, между прочим, среди современ. русских поэтов не более двенадцати) мы не отыщем слишком много «отличных» стихов. Я полагаю, что напр. у Блока, из четырех его книг стихов (говорю об изданиях «Эпохи»...) можно найти не более 50-ти (это так!) «отличных» пес. Зато тем ценнее эти стихи, и именно они-то и должны служить идеальным образцом для всякого, вступающего в поэзию».

Среди всех этих уникальных материалов, отданных мне М. С. Лесманом для первой публикации, есть письмо К. Э. Циолковского. Исполняя просьбу неизвестного корреспондента, Константин Эдуардович послал ему свои работы и книги. А в конце ответного письма великого ученого — поразительные по скромности строки:

«Если будете писать, то сообщите, откуда Вы обо мне знаете».

Взгляните на дату: 1 июля 1925 года. Калуга.
Так он писал в 1925 году!

Не правда ли, иначе, чем это:

«Мое имя — Христофор Колумб, я — бедный генуэзец, недавно прибывший в Лиссабон. Живу здесь тем, что черчу морские карты и продаю книги. Но если вам придется когда-нибудь услышать о человеке, открывшем новые пути в неведомые земли, знайте, что это сделал ваш покорный слуга».



лополучный
архив

Этот человек стремился превзойти других в жизни. А превзошел в смерти. Никто еще на земле не уходил в небытие в окружении такой ненависти, в таком нетерпеливом ожидании последнего вздоха умирающего. У одра его не склонялись в отчаянии ни жена, ни сын, ни друзья — не было у него ни жены, ни сына, ни друзей. Были те, кто за стенами его дома ждали, когда же наконец он умрет.

Весенним днем 1834 года, когда в полях вокруг имения Грузино уже зеленела трава, и на деревьях лопались почки, в своем загородном дворце умирал граф Алексей Андреевич Аракчеев. Кто знает, о чем он думал тогда? Вспоминал ли взлеты и падения своей жизни, слепое доверие и недоверие монархов, жалел ли о чем? Графу Алексею Андреевичу жизнь его представлялась прямой, как стрела. И стрела эта всегда разила врагов императорской власти, любого, кто хоть в мелочи нарушал ход ее машины. А яд той стрелы был напоен его безмерной собачьей преданностью, безмерной любовью к императору Александру I.

Последние девять лет жизни оказались мрачными для Аракчеева. Началом конца стал 1825 год. Скончался император Александр, в служении которому видел Аракчеев весь смысл существования еще с ноября 1796 года. Воцарившийся тогда император Павел Петрович позвал к себе коменданта Гатчины, молодого артиллерийского полковника: «Смотри, Алексей Андреевич, служи мне верно, как и прежде, — и соединил его руку с рукой

великого князя Александра Павловича. — Будьте навсегда друзьями».

Аракчеев выполнил монаршую волю. И вот теперь не стало его государя, и Россия, думалось Аракчееву, осиротела без него, как и сам он, верный его слуга.

И в том же несчастливом году убили его домоправительницу и сожительницу Настасью Федоровну Минкину, убили дворовые! Их, конечно, засекут до смерти, но ведь не вернешь тем Настасью Федоровну, не вернешь!

Но и на этом не окончились испытания, ниспосланные ему судьбой. Развязались после кончины Настасьи Федоровны языки, и ведомо стало, что сын, Михаил Шумский, которого Настасья Федоровна подарила ему в дни их молодости, — вовсе не сын его. Не стесняясь, говорили теперь, что сожительница его симулировала беременность, чтобы крепче привязать к себе графа (при его частых и долгих тогдашних отлучках это было нетрудно), а младенца взяла у местной крестьянки, пригрозив матери.

Все эти годы, он считал Шумского своим сыном, всячески продвигал его к жизненному успеху, дал возможность окончить пажеский корпус, сделал даже флигель-адъютантом императора, а Шумский, ничего не цenia, беспробудно пьянствовал и скандалил, однажды даже в пьяном виде свалился с коня на смотр, в присутствии его величества Александра Павловича. Граф Алексей Андреевич вынужден был определить отпрыска в монастырь, и теперь, движимый привычкой, а, может быть, одиночеством и старой привязанностью, исправно посылал ему по сто рублей в месяц...

Что же оставалось теперь? Николай I Аракчеева не жаловал. Народ ненавидел за жестокость и притеснение. А чем жить-то? Да тем же, чем и прежде — преданностью императору, пусть и покойному. Алексей Андреевич затеял переписку с Академией художеств, заказал в честь императора памятник и установил его в своем Грузине. А незадолго перед смертью внес в банк 50 ты-

сяч рублей на сложные проценты с завещанием, чтобы в 1925 году (одна тысяча девятьсот двадцать пятый год, к столетию со дня смерти Александра I) эта сумма была бы обращена в награду автору лучшего труда об истории славного александровского царствования, а также для перевода этого труда на иностранные языки. (Всего восьми лет не хватило верноподданным историкам России, чтобы воспользоваться завещанием графа Аракчеева и оставленной им наградой.)

И всю жизнь — на вершинах безраздельной власти, и в провалы безвременья — вел граф Алексей Андреевич переписку со многими государственными деятелями и частными лицами. Письма эти, начертанные гусиными перьями на плотной почтовой бумаге, аккуратно подшивались секретарями в толстые фолианты.

Чувствуя приближение смерти, граф приказал перенести себя из кабинета в ту из трех комнат дворца, где останавливался у него и жил любимый государь, положить себя велел на тот же диван, где почивал Александр, и у постели повесить портрет императора. А когда навсегда сомкнулись веки и уста того, кого многие годы иступленно боялась и ненавидела Россия, весть об этом разнеслась по Новгородской губернии, да и далеко за ее пределами с такой быстротой, будто уже был изобретен телеграф. Люди ликовали. Для многих обитателей грузинской вотчины наступил час освобождения: перевод их из аракчеевского частновладения в казну казался им свободой!

Впрочем, даже самые мрачные действующие лица на исторической сцене оказываются в ладу с формулой Станиславского, предложенной актерам: играя злого, ищи, где он добрый. Это следует понимать расширительно: не бывает людей, облик которых можно рисовать одной краской. Доброты в Аракчееве не искал и не предполагал никто. Но даже у него нашлось несколько граней характера, о которых современники говорят с одобрением.

Самые ярые ненавистники Аракчеева свидетельствуют, что граф за всю свою жизнь... не принял ни единой взятки, а подобная щепетильность не была в те времена широко распространенной.

— Замечу, что граф Аракчеев... как генерал-инспектор, сделал многое для улучшения нашей артиллерии, в чем заверит вас любой офицер сего рода войск.

— И новый устав издал, и пушки облегчил, и «Артиллерийский журнал» учредил.

(Диалог из романа В. М. Глинки «Дорогой чести».)

Аракчеев умер в опочивальне императора. А в его собственном кабинете лежали толстые, аккуратно подшитые фолианты писем и документов за три десятилетия его деятельности: письма государственных деятелей, священнослужителей, частных лиц, переписка по важнейшим государственным делам и личным надобностям, записки и приписки Настасьи Минкиной... Одни тома переплетены в кожу, другие одеты в картон. И свойственные хозяину дворца придирчивая дотошность и педантическая аккуратность отразились в его архиве со всей очевидностью.

Вскоре после смерти Аракчеева архив исчез.

* * *

Когда в одной из аудиторий Ленинградского университета профессор читал свои лекции, слушать его сходились многие: будущие историки и филологи, биологи и юристы; и не потому, что он был моден, — его лекции неизменно становились увлекательными рассказами о прошлом России и о возможностях науки, о познании мира, о том, что будущее можно по-настоящему понять лишь из прошлого, подобно тому, как из глубины колодца можно днем увидеть звезды. Но кроме всего этого профессор прививал своим слушателям вкус

к историческим документам, к тем самым архивным пожелтым бумагам, которые новичку обычно кажутся ненужной мертвечиной. Учил распознавать в них ростки жизни, протянувшиеся в настоящее и будущее. Если ученым-биологам удастся иной раз оживить зерна или микроорганизмы, пролежавшие в земле тысячелетия, то как же не уметь оживлять зерна человеческой мысли, памяти, разума, пролежавшие в архивной папке?

Любимый ученик профессора, молодой студент, не раз бывал у своего учителя дома, в его маленькой квартирке на Васильевском острове. Здесь, в тесноте небольшого кабинета, громоздились книги, давно не умещавшиеся на стеллажах — они образовали небольшие курганы прямо на полу. Повсюду и, как могло показаться, в совершенном беспорядке лежали журналы, рукописи, редкостные, диковинные предметы, привезенные из дальних стран или приобретенные по случаю. Экзотические вещи выглядели в комнате профессора совершенно естественно. Оставалось лишь гадать, как умудряется хозяин кабинета, лавируя в тесноте и нагромождении книжных курганов, журнальных горных хребтов и антикварных реликвий, ничего не задеть, не ронять, ни на что не наступить и, главное, всегда быстро находить нужную вещь. Часто по вечерам учитель и ученик засиживались за стаканом крепкого чая, который ценился профессором выше иных удовольствий, и говорили об удивительных тайнах природы.

Однажды, в сентябре 1933 года, профессор сам пришел к ученику и притом — в довольно поздний, необычный час.

— Простите, что беспокою так поздно. Не спите?

— Не сплю, заходите пожалуйста... — студент видел, что профессор чем-то взволнован, но решил не задавать вопросов и подождать разъяснений. — Хотите чаю?

Пока грелся чайник, профессор оглядывал комнату, рассматривал книги на столе, но было заметно, что мысли его заняты чем-то другим.

Когда выпили чай, профессор попросил разрешения закурить, а курил он редко, и папираса означала у него состояние беспокойства.

— У меня к вам просьба. Серьезная!

— Профессор, я выполняю любую, если это будет в моих силах.

— Но только условимся: если просьба моя по какой-нибудь причине придется вам не по душе — вы скажете об этом прямо, я не обижусь, пойму.

— Да что вы! Я рад оказать вам любую услугу!

— Не согласитесь ли вы принять на сохранение... — профессор запнулся, но взял себя в руки и продолжал, — да, на сохранение, и притом на неопределенный срок, некоторые заветные и дорогие для меня вещи? Это память о матушке, ее шкатулка с незначительными женскими вещами, зеркальце в серебряной оправе, она любила смотреться в него, и пачка ее писем ко мне, расстаться с ними совсем мне было бы жаль.

— О чем разговор? Разумеется, я могу сохранить все это. Но почему вы решили отдать их мне? Вы уезжаете?..

Профессор промолчал и продолжал, будто не слыша вопроса:

— А если я умру, что вполне может статься, эти вещи останутся вам в память обо мне. Настоятельно прошу вас об этом.

— И всё-таки я не понимаю, что случилось?

— Возможно, мне придется уехать, надолго, мало ли что может случиться... Но это не всё — продолжал он. — Есть у меня еще кое-что, ценнейшие бумаги, которые тоже прошу вас взять к себе... Да нет, не пугайтесь, это не деньги и не облигации, хотя, может быть, нечто еще более дорогое. Я не смог захватить

их сейчас с собой, это большая тяжесть, так что прошу вас сейчас же, прямо сейчас же поехать со мной; возьмем извозчика и перевезем все это вместе...

— Но что же это, профессор?

— Драгоценные документы, грузинский архив Аракчеева, та его часть, что находится у меня в Ленинграде.

Студент смотрел на учителя, обомлев. Профессор улыбнулся и добавил:

— Вот вам, кстати, прекрасный случай покопаться в этом архиве и написать исторический роман об Аракчееве. Вы сами увидите, какой это был сложный, интересный человек. Вы привыкли читать и слушать на лекциях, что граф Аракчеев — жестокий временщик, солдафон, царский сатрап, цепной пес русского престола и тому подобное. В основном всё это верно. Но были у него и другие качества души и характера... Почитайте!

— Вы сказали: часть архива; есть и другая?

— Есть. В Новгороде. Там у нас с женой домик, в нем, между прочим, находится фамильная библиотека моего отца и деда, собиравшаяся на протяжении столетия.

...Была уже ночь, когда они вышли на улицу. Васильевский остров первым в Ленинграде принимал на себя осеннее дыхание Балтики. С залива дул промозглый влажный ветер, моросил мелкий дождь. Не сразу нашли они извозчика. Через час тяжелые пакеты с драгоценным архивом перекочевали на квартиру студента.

Больше они не виделись. А через несколько лет превратности судьбы заставили и студента отправиться в путь. Комнату свою запер на замок: близких у него здесь не было, и доверить свое имущество некому. Но что замок на фанерных дверях коммунальной квартиры, если жилец отсутствует в течение нескольких лет и не подает о себе никаких известий?.. Когда

студент вернулся домой, комната пустовала. Не было в ней ни мебели, ни шкатулки, ни других вещей, оставленных профессором. Отсутствовали и пакеты с архивом Аракчеева. Всё это исчезло без следа. Как теперь искать? Где? У кого? Как объяснишь управдому, что у тебя пропали не примус и не стенные часы-ходики, а архив графа Аракчеева, цепного пса самодержавия?.. Было горько на душе, что не выполнил просьбы учителя, не сберег доверенных им реликвий.

Молодой ученый решил вести записки. В них он рассказал о своем учителе, о том, как возникли и окрепли их отношения и, наконец, о той осенней ночи, когда профессор пришел к нему и передал на хранение заветные свои сокровища. Поведал бумаге и о том, что просьбы учителя выполнить не смог — судьба распорядилась иначе. Закончил он тем, что местонахождение вверенных ему вещей и бумаг ему неизвестно.

Вскоре началась Великая Отечественная война, и студент снова покинул свою комнату в коммунальной квартире.

Еще до войны концертмейстер и известный ленинградский библиофил М. С. Лесман не раз бывал с концертными бригадами в старых русских городах центральной части России. Здесь, в неказистых провинциальных домах и квартирах, можно было иногда увидеть сокровища: редкостные книги, картины, старинную мебель и утварь. Знакомство с реликвиями культуры минувших эпох доставляло ленинградскому пианисту такую же радость, как и древняя архитектура, ради которой ездили сюда многочисленные туристы.

Не раз слышал собиратель удивительные рассказы о якобы сохранившемся архиве Аракчеева. Этот загадочный архив — если даже он и существовал — не давался в руки многочисленным библиофилам, ученым, собирателям, которые без усталости искали его по меньшей



Портрет Лесмана

мере с середины девятнадцатого столетия. Упорно разыскивал его и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, старый революционер, деятель Коммунистической партии, литератор, организатор и первый директор Литературного музея в Москве.

Ленинградский собиратель помнил, что аракчеевское имение Грузино находилось в Новгородской губернии, так что по логике вещей начинать следовало с Новгородской области, может быть, с самого Новгорода: кто знает, не сохранились ли там какие-нибудь «концы»? Надо бы порасспросить местных старожилов.

Концертмейстера Лесмана включили в очередную концертную бригаду, выезжавшую на гастроли в Новгород. И вот он в новой гостинице старого русского города, с которым так прочно и многообразно связана наша история. У артистов — обычные деловые заботы, репетиции, у Лесмана — нетерпеливое ожидание свободной минуты, чтобы начать задуманные поиски. Он понимал: встречи и разговоры с незнакомыми людьми на такую довольно странную тему, как исчезнувший архив графа Аракчеева — дело не легкое; надо расположить человека к себе, внушить ему доверие, даже симпатию — иначе с какой стати будет он рассказывать о новгородских кладах, давать советы, адреса, помогать в запутанных поисках?

Среди новгородских старожилов особенной известностью пользовался Василий Федорович К. — немолодой человек богатырского сложения с белоснежной бородой до пояса, краевед, историк, знаток родных мест; он знал подноготную любого новгородского старожила. Василий Федорович пользовался в свое время дружеским расположением Васнецова и Рериха, художники ценили его знания. Теперь же он выполнял роль своего рода художественного комиссионера — рассказывал художникам или приезжавшим представителям музеев, у кого в городе можно достать художест-

венную утварь, старую мебель, антикварные вещи.

Новгородцы не раз советовали ленинградскому пианисту: повидайтесь с Василием Федоровичем! Никто не знает здешних старожилов так, как он.

...Василий Федорович внимательно выслушал приезжего библиофила, при упоминании архива Аракчеева удивления не выразил, только долго в задумчивости поглаживал свою замечательную бороду.

— Ладно, приходите завтра с утра, кое-что вам покажу.

Ленинградский собиратель трепетал в ожидании: неужели удалось напасть на след знаменитого архива? Неужели старик знает о его местонахождении, и завтра утром совершится чудо?

Назавтра Василий Федорович встретил гостя важно и многозначительно и сообщил ему адрес, отправившись по которому можно посмотреть и при желании приобрести... полное облачение немецкого пса-рыцаря, добытое со дна Чудского озера.

— Вы не сомневайтесь, оно подлинное, — добавил старик.

Гость не выдал своего разочарования, но признался, что не испытывает особого интереса к ржавым рыцарским доспехам и принялся заново объяснять, в чем состоит его просьба.

— Ну, что ж, — солидно сказал старик. — Что ж поде-лаешь! Когда приедете в следующий раз, я непременно кое-что разузнаю; не беспокойтесь.

Он изрек это таинственно, и борода его исключала, казалось, всякие сомнения в его неограниченных возможностях.

Прошло полгода, пока гастрольные планы снова привели ленинградских актеров в Новгород. Василий Федорович был всё так же могуч и многозначителен, а борода его стала вроде бы еще белее и волнистее.

— Приходите завтра к одиннадцати, — сказал он гостю с видом доброго волшебника.

На этот раз К. сообщил, что с невероятными трудами разыскал-таки («только для вас») прекрасный екатерининский книжный шкаф в сохранном состоянии и впридачу — серебряный крест, инкрустированный самоцветами. При этом лицо старика выражало горделивое удовлетворение: видите, выполнить ваше желание в этом городе могу только я.

Делать было нечего — приходилось терпеливо ждать, чем это кончится. А кончилось это тем, что когда Лесман в третий раз приехал в Новгород, Василия Федоровича целыми днями и вечерами не оказывалось дома. Становилось очевидным, что старый хитрец и не думает открывать приезжему свои секреты, не собирается делиться своей осведомленностью. Можно было также предположить, что о местонахождении архива Аракчеева не знает ничего даже он, а признаться в этом не хочет.

Но ленинградский собиратель решил не сдаваться: терпеливо посещал новгородских книжников и после короткой вступительной беседы и деланного восторга по поводу какого-нибудь древнего имущества хозяина дома задавал один и тот же вопрос о судьбе аракчеевского архива.

Обычно люди снова и снова пожимали плечами — они ничего не знали. Лишь один из новых знакомых, подумав, предложил ленинградцу побывать у одинокой женщины, замкнуто живущей в своем старом двухэтажном деревянном доме.

— Кто она? — поинтересовался приезжий.

— Видите ли, она вдова какого-то ленинградского профессора, не помню только фамилии; у нее, насколько нам известно, сохранились старые книги, картины, человек она очевидно образованный, так что поговорить с нею не мешает.

Лесман взглянул на часы. Еще не очень поздно и отправиться по новому адресу можно сейчас же. В нем снова проснулось ощущение и ожидание чуда, он снова верил в успех, и эта вера, как всегда, снимала и усталость, и разочарования бесплодных поисков, и опасения, что все его усилия снова окажутся напрасными.

Дом оказался хоть и двухэтажным, но весьма неказистым и совсем не производил впечатления частного музея. Но вот дверь открылась, и хозяйка, выслушав объяснения гостя, пригласила войти. Приезжий поднимался следом за нею по скрипучей деревянной лестнице и с удивлением и восхищением рассматривал прекрасные миниатюры прошлых веков, висевшие на стене вдоль всей лестницы.

Наверху располагалась библиотека. Старинные книги мерцали позолотой добротных переплетов, опытный глаз собирателя отметил и немало редких изданий — увидев их в другое время и в другой ситуации, он, наверное, задрожал бы от волнения и азарта. Но сейчас он не дрожал — шел по следам определенной загадки исчезнувшего архива. Отвлекаться от главной цели визита не хотелось. Поговорив с хозяйкой о разных посторонних вещах, рассказав о своем увлечении, о своей библиотеке, Лесман набрался духу и задал все тот же вопрос, с каким ехал он в Новгород и какой задавал уже многим в этом старинном городе.

Хозяйка дома молчала, задумчиво смотрела в окно. Там, за окном, шумела совсем иная жизнь, строился новый, молодой предвоенный Новгород, и все эти старые книги, мерцающие дорогими корешками, в солидных, нарядных переплетах, не имели, казалось, к той жизни за окном никакого отношения. Женщина молчала и гость не прерывал ее задумчивости. Наконец, отвернувшись от окна и еще раз взглянув на пришельца, вышла в соседнюю комнату. Отсутствовала она довольно долго,

и Лесман подумал было, что она забыла не только о его вопросе, но и о нем самом. Но вот снова скрипнула дверь и хозяйка вошла, неся толстый, переплетенный в кожу фолиант. Молча положила его на стол. Снова вышла и принесла еще один. И еще... Около десятка объемистых томов рукописей и тонких папок с отдельными письмами лежали перед Лесманом, и он с замиранием сердца, боясь еще поверить в свою удачу, не решался прикоснуться к сокровищу, которое до сих пор никому не давалось в руки.

Он взял со стола первую попавшуюся тетрадь. Прочел: «Журнал графа А. Аракчеева, писанный во время войны в 1812-м, 1813-м и 1814-м годах». Раскрыл: крупный корявый почерк; рисунки фортификационных сооружений и укреплений, схемы... Да, несомненно, это рука Аракчеева!

Легко понять душевное состояние библиофила в эти минуты. Множество мыслей проносилось в голове: неужели это тот самый архив? Неужели это его привез темной сентябрьской ночью ленинградский профессор своему ученику, чтобы оставить на сохранение? И это о нем писал ученик, молодой ученый? (Его записки волею причудливой судьбы также оказались в рукописном собрании Лесмана.) Нет, надо немедленно раскрыть эти фолианты и посмотреть, что в них содержится, хотя бы бегло, поверхностно...

— Если я вас не задержу, разрешите мне полистать эти документы? Вы, наверное, понимаете мое нетерпение.

— Пожалуйста, смотрите сколько угодно. Я займусь по хозяйству.

Женщина ушла и оставила его одного с этими кипами неведомых бумаг. Лесман заставил себя успокоиться и принялся листать фолианты наугад.

«Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение, в одну строку написанное, означало приказание, а в донесениях лица подчиненного, и в особенности

такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в двух строках:

Ваше Превосходительство

Милостивый Государь,

что означало подчинение и вежливость».

Это тонкое замечание, сделанное Тыняновым в рассказе «Подпоручик Киже», еще в большей степени относится ко второй половине жизни Аракчеева, когда он был уже не бароном, а графом. Теперь его следовало именовать:

«Ваше Сиятельство

Милостивый Государь Граф...»

Вот оно — такое обращение. Почти на каждой странице, на каждом листке.

«Ваше Сиятельство,

Милостивый Государь Граф Алексей Андреевич!

... г. Шумский до сего времени постоянно вел себя скромно и совершенно трезвенно...

... г. Шумский при сем начинании через меня покорнейше просит у Вашего Сиятельства милостивейшего прощения во всех его перед Вашим Сиятельством преступлениях...

Честь имею быть с совершенною преданностью и глубочайшим почтением Вашего Сиятельства Милостивого Государя покорнейшим слугою и богомольцем игумен Антоний

14 сентября 1831 года

Новгородский Кириллов монастырь»

Еще письмо... Странно: здесь нет и в помине столь высокопарного обращения... Ах вот оно в чем дело — это письмо царя!

«Умань, августа 10-го 1820 года

За совершенное удовольствие поставляю себе, любезный Алексей Андреевич, сообщить тебе,

что вообще я весьма был доволен всем тем, что я видел в уманских дивизиях. Много очень сделано. Но многое нужно еще поправить и улучшить...

Я ожидал, что ты меня известишь о себе и об твоём домашнем положении, но донныне ничего не получил. Пребываю с искренною привязанностью тебя любящим

Александр»

Вот — целая пачка писем Аракчеева барону Кампенаузену, государственному контролеру, автору ряда трудов по финансовым и экономическим вопросам.

«Грузино. 20 мая 1822

Милостивый государь и почтенный друг
барон Балтазар Балтазарович!

Письмо ваше от 13 мая доказало, что еще есть на свете добрые люди, кои любят своих приятелей во всякое время и веселое, и скучное и вы оным письмом сделали утешение моей печальной душе...»

Очевидно, Аракчеев остро ощущал всеобщую ненависть, если погибал столь сентиментальные пассажи!

А это что такое?.. На письме сверху — пометка: «Присланные при оном письме чертежи быстрохода или почтовое конно-гребное судно для действия быками или лошадьми внесены в каталог ландкарт и планов под № 412. Получил Ив. Семенов».

Уж не обращался ли к Аракчееву какой-нибудь изобретатель? И что это за каталог ландкарт и планов? И где он находится? Множество вопросов. Но что в письме?

«Сиятельныйший Граф,
Милостивый Государь!

Тому, кто у кормила государственного оставил по себе память истинного сына отечества и государственного человека, тому, конечно, всё

то, что благоденствия касается народного, смело на суд отдавать можно! Благоволите, сиятельный граф, принять приложенные при сем чертежи и рисунки в всегдашнем уважении моем к великим вашим подвигам и доблестям душевным и позвольте мне, милостивый государь, на страстной неделе приехать к вам в ваше Грузино исполнить долг христианский и побеседовать с вами о том столь нужном и много значащем для России флоте...

Всякое вашего сиятельства на план сей замечание будет совершеннейшим для меня сокровищем, а пребывание в поместье вашем без сомнения благодеянием, ибо для прожительства в Петербурге никаких уже давно способов и средств не имею, а собственного угла у меня еще нигде нет. К тому же, может быть, со временем... доберусь я до той знаменитости, которую приобретают полезными для отечества трудами...»

С большим напряжением разбирал Лесман замысловатый почерк автора письма — на это ушло немало времени. Однако хотелось дочитать это послание до конца. А подпись его автора заставила насторожиться: Дмитрий Демидов. Уж не отпрыск ли это знаменитой семьи горнозаводчиков Демидовых? Но тогда непонятно, почему он не имеет «средств и способов» для существования? Демидовы из поколения в поколение сохраняли свои огромные богатства, владели миллионами. Значит, однофамилец? И почему ему вздумалось изобретать «быстроход для действия быками», если на Неве в это время уже пробовали свои силы и совершали рейсы до Кронштадта первые русские паровые суда?!

Интересно и другое: вникал ли граф Алексей Андреевич в присылаемые ему проекты? На приведенном письме имеется дата, проставленная его рукой: «4 апреля 1831 года». Но значит ли это, что Аракчеев

заинтересовался «быстроходом» Дмитрия Демидова?.. Сейчас, листая страницы архива впервые, ответов на эти вопросы не найти.

В одном из сборников писем топорщатся сложенные пополам плотные листы бумаги. На первом из них каллиграфическим почерком канцеляриста стоит:

«Тысяча восемьсот тридцать первого года ноября я, нижеподписавшийся Императорской Академии художеств литейных дел мастер Василий Петров сын Екимов, заключил сие условие с Е. С. Г. А. А. Аракчеевым, а о чем, тому следуют пункты:

1. Обязуюсь я, Василий Екимов, вылить из меди памятник покойному императору Александру I, изготовленный академиком Гольбергом по заказу Его Сиятельства Графа Алексея Андреевича...»

Далее следует множество пунктов, определяющих все условия работы и денежных отношений между мастером и заказчиком.

А здесь — что-то про крестьян:

«...Из числа пяти человек крестьян Вашего Сиятельства, присланных с головою сегодня, приняты в рекруты двое, именно Матвей Иванов и Алексей Михайлов, а за остальных следующих с вотчины Вашего Сиятельства рекрут зачтены три рекрутские квитанции и тем совершенно окончена повинность по настоящему набору... Степан Мосеев, Степан Семенов и Иван Григорьев не погодились в рекруты: первый за тот же самый порок, который был усмотрен и прежде и с которым губернатор принять никак не решился, второй за неимением сустава в большом пальце на правой руке и за несгибанием оного, а последний Иван Григорьев за имением грыжи.

20

Оплатить се Роговского Ивковича 17 летних которое Вильямов в
журналах, по № 40

Письмо Н. Заостровской из архива Аракчеева

Пребуду навсегда Милостивей-
ший Государь
Вашего Сиятельства предан-
ным слугою К. Беляев

18 апреля 1831 года».

Трудно оторваться от писем, пролежавших более ста лет и сохранивших множество мелких и важных, смешных и драматических обстоятельств минувшей эпохи. Ну вот хотя бы такое:

«... Отец и благодетель наш, вы изволили мне приказать женщину вами пожалованную мне с двумя дочерьми выслать вон из дому, а я, батюшка, так огорчилась, что не могла сказать вашему сиятельству ни одного слова, что эдакого несчастья никогда не бывало со мной, как нынешний год.

Содержать мне их нечем, хлеба у меня нет и осмеливаюсь вас, батюшка, просить позвольте их подержать пока я не найду им места продать, а если к сестре отправить, то и она нуждается с хлебом.

Наталья Заостровская».

Но отец и благодетель не позволил подержать женщину с двумя детьми. Уже через девять дней Заостровская докладывала графу: «По вашему приказанию вдову с двумя дочерьми отправили в Демидово...»

В некоторых документах можно расслышать отголоски довольно бурных и острых событий, хотя на почтовой бумаге, вшитой в аракчеевские фолианты, приведенные факты выглядят единичными и случайными. Новгородский исправник Петр Кудрявцев доносил Аракчееву, что «Ныне дошло до сведения моего, что крестьянин вотчины Вашего Сиятельства Степан Шишкин ездит по уезду, уговаривает старост отменить тех людей, которые взяли отправлять подводную повин-

ность... и делает совершенный беспорядок, тем более, что поведение его не трезвое и развратное...»

Ну, разумеется, «не трезвое и развратное»! Иначе чем еще объяснить Его Сиятельству, что мужики в его вотчине бунтуют?!

Ответ Аракчеева на это письмо короток и ясен: «Его, Степана Шишкина, пьяного привезти прямо ко мне в Грузино».

Нетрудно представить себе дальнейшую судьбу несчастного.

Лесман зачитался, время бежало незаметно. Вернулась хозяйка дома.

— Ну как, вы это искали?

— Это! Теперь хотелось бы поговорить с вами, не продадите ли вы архив. У меня он будет в надежных руках. Публикации ждут многие автографы из моей коллекции. Придет черед и этих.

Женщина, подумав, согласилась и назвала цену. Нужной суммы у Лесмана с собой не оказалось. Пообещав вернуться на другой день, он, не заходя в гостиницу, отправился на почту, позвонил в Ленинград и попросил жену срочно занять необходимые деньги и выслать их телеграфом, а лучше — приехать самой: одному все тома архива не унести.

Жена приехала. Погрузив счастливую находку на палубу волховского парохода, они тронулись в обратный путь. Свободной каюты не оказалось. Пришлось устраиваться на палубе. Здесь же лежали пакеты, завернутые в плотную бумагу и тщательно перевязанные. Наверное не первый раз покидал архив Аракчеева новгородскую землю, но всегда снова возвращался сюда, влекомый судьбой. Какие маршруты предназначались ему теперь?

Последнее усилие: надо поднять пакеты на высокий пятый этаж старого петербургского дома на Петроградской стороне. Всё. Долгие поиски многих людей

завершены. Архив Аракчеева обрел пристанище на крышке рояля своего нового владельца. Постепенно все эти бумаги следует разобрать. И представить себе хотя бы в общих чертах, что же в нем содержится.

...Над Ленинградом бушевала весна. Густым снегопадом парил в воздухе тополиный пух. Разгорались белые ночи, не в первый и не в последний раз озаряя призрачным светом громады дворцов и башен. В такие вечера не хотелось заниматься разбором старых рукописей. С Невы доносились гудки речных трамваев, приглашавших на ночную прогулку в разные концы города. И даже любимая кошка, оказавшаяся позднее котом, рвалась из квартиры на улицу, чтобы в ближайшем сквере жевать ведомую ей траву.

...А 22-го июня началась война.

По различным и весьма серьезным причинам Лесман не раз в своей жизни утрачивал свою коллекцию. И вот обстоятельства снова складывались драматически. О том, чтобы взять с собой книги, не могло быть и речи. Им придется остаться на стеллажах. Иного выхода нет. Увезти необходимо лишь самое ценное, наиболее уникальное — рукописи и автографы выдающихся людей, около трех тысяч редкостных документов, тщательно разысканных и собранных за долгие годы страстного увлечения: здесь — дневники знаменитых людей, письма Льва Толстого, Фета, Куприна, Чехова, Чайковского, Стравинского, Ахматовой, Блока, Горького, Зощенко... К счастью, рукописи занимают сравнительно немного места и могут поместиться в обыкновенном чемодане. А многотомный архив Аракчеева придется оставить на рояле, прикрыв одеялом. Его и с места не сдвинуть. Ему тоже надо дожидаться лучших времен, когда — очень скоро, конечно! — окончится война и можно будет спокойно заняться разборкой драгоценных бумаг.

Заперев квартиру, Лесман уехал, взяв с собой драгоценные папки с рукописями.

А вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо.

Пережив вместе со всеми превратности войны, пианист возвращался в Ленинград с понятным нетерпением. Хотелось поскорее увидеть родной город, пройти по его улицам, по набережным Невы. И конечно — взбежать по крутой лестнице своего старого дома на Петроградской стороне...

Комнаты пустовали. На стеллажах и в шкафах — ни единой книги. Стекла в окнах отсутствовали и по квартире гулял ветер, шелестя на полу какими-то бумагами. Только рояль стоял на прежнем месте. Но крышка его отражала видимый в окне прямоугольник неба. Аракчеевский архив исчез.

Надо найти в себе силы пережить и эту новую потерю. И начинать сначала — и жизнь, и собирательство. Может быть, правда, что процесс собирания слаще обладания? Тогда еще не всё потеряно! Тогда новые радости ждут его впереди.

Так оно и оказалось. За истекшие после войны три с половиной десятилетия М. С. Лесман собрал новую библиотеку, и она уже приближается к той, что имела у него до войны. Но архива Аракчеева он больше не видел.

Недавно Моисей Семенович по какому-то поводу пришел в отдел рукописей ленинградской Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В тот день ему понадобилось посмотреть списки фондообразователей — тех лиц, чьи материалы попали в фонды библиотеки.

И вдруг, листая машинописные листы со списками имен, он неожиданно обнаружил собственную фамилию. Это крайне удивило его. Удивило, потому что отправив значительные части своей коллекции Новосибирской публичной библиотеке, он никогда ничего не передавал ленинградской. Откуда же взялась здесь его фамилия?

Среди материалов, поступивших сюда якобы от его имени, значились:

сатирические стихотворения разных авторов — 1800-е годы;

сочинение неуставленного лица «Книга или наука о познании самого себя» — конец XVIII — начало XIX века;

два рукописных романа начала прошлого столетия неизвестных авторов;

удостоверение в изучении горного дела, выданное Петру I;

мемуары Марии Федоровны Фредерикс, фрейлины императорского двора: «Воспоминания старушки о дорогом прошлом», 1883—1890 (две тетради);

стихотворение П. А. Вяземского...

архив Аракчеева...

Что!?

Лесман перевел дыхание и снова взглянул на машинописный текст:

«Архив А. А. Аракчеева». Черным по белому. Как будто нечто само собой разумеющееся.

Он вскочил, подошел к дежурному библиографу.

— Скажите, пожалуйста, вот все эти материалы — откуда они? Как поступили к вам? Почему они значатся под моим именем?

— Да что вы, Моисей Семенович, это же ваши материалы! Они поступили к нам... ну, вот же ясно сказано — во время войны.

— А кто же принес их сюда?

— Не знаю. Наверное, вы сами. Кто же еще?

Собиратель не стал делиться с библиографом догадкой: некоторые материалы, в том числе и архив Аракчеева, вероятно, были похищены из его квартиры в дни блокады и проданы библиотеке. В те трудные дни такого рода приобретения происходили без обыч-

ного оформления, без документов. Тот, кто принес сюда рукописи, воспользовался этим, а для конспирации назвал имя самого собирателя.

Включать в разгадку этой последней тайны аракчеевского архива уголовный розыск не имело смысла — с момента происшествия минуло более двадцати лет. Да и ради чего? Замечательный архив обосновался там, где ему в конечном счете и надлежит находиться — в государственном хранилище рукописей.

* * *

Зачем хранятся архивы таких непривлекательных лиц, каким был Аракчеев? Надо ли сберегать его личные письма и документы для потомков, чьи интересы давно уже несопоставимы с делами и поступками мрачного временщика Александровской эпохи?

— Разумеется, надо, — говорит писатель и ученый Владислав Михайлович Глинка, выдающийся советский специалист в области русской военной истории. Перед Великой Отечественной войной он заведовал музеем-усадьбой Грузино (этот мемориальный комплекс был тогда филиалом Музея Революции). Ученый создал здесь экспозицию, в частности — по истории военных поселений, где отразил и восстание в них в 1831 году. В. М. Глинка и сегодня остается бесспорным знатоком в интересующей нас области. — Зачем вообще хранить документы, в том числе и сугубо личные, дошедшие до нас из далекого прошлого? Нужен ли архив Аракчеева? Совершенно очевидно, что все эти бумаги и сегодня, и в будущем, когда к ним обратится новый исследователь, способны дополнить и уточнить наши знания эпохи, истории, государственного устройства, культуры, быта. Нужно ли говорить, как это важно!

— Что касается Аракчеева, — продолжает Владислав Михайлович, — нельзя не поражаться редкостной про-

тиворечивости этой фигуры, двойственности характера печально известного большинству людей персонажа русской истории. Я употребил театральный термин «персонаж». Аракчеев был великим актером в жизни, старательно, последовательно, не жалея сил и средств играя роль преданного слуги императора Александра I. Он вошел в эту пожизненную роль, как театральный актер входит в образ, и почти неотделим от нее.

Расскажу лишь об одном случае, когда двойственность его натуры проявилась особенно разительно. Став видным военным деятелем своего времени, Аракчеев был прямым шефом и покровителем полка, который так и именовался: гренадерский графа Аракчеева полк. В 1816 году граф разместил этот полк поблизости от своего Грузина, на берегу Волхова, начав этим систему мрачных военных поселений в Новгородской губернии. Аракчеев тиранил офицеров и особенно рядовых полка так, как умел это делать только он. Военные поселения превращались в каторгу для тех, кто имел несчастье служить под началом жестокого «шефа».

В то же время в Грузинском соборе (единственная сельская церковь в России, получившая право именоваться собором), Аракчеев воздвиг монументальный памятник солдатам и офицерам своего полка, павшим на полях Отечественной войны 1812 года. Более того: по его заказу были составлены и отпечатаны два мемориальных издания (тираж их был крайне мал, и ныне они абсолютно уникальны). В одном из них приводились биографии 13 погибших офицеров, в другом — подробнейшие формулярные данные о 281 унтер-офицере и рядовом гренадере, погибших или умерших от ран. Таких удивительно полных мемориальных изданий русская военная история и военная литература никогда не знали! Так что можно сказать, Аракчеев внес некоторый вклад и в область русских уникальных изданий... Но и это тоже было своего рода актерством.

Рукописный архив Аракчеева, хранимый ныне отделом рукописей Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, состоит в основном из трех разделов. Первый — деловая, официальная переписка Аракчеева в качестве военного министра и генерал-инспектора русской артиллерии, а позднее — председателя Военного департамента Государственного совета; второй раздел — хозяйственная переписка крупного помещика; и третий — переписка со многими лицами, имеющими бесспорно историческое значение: Кутузовым, Барклаем де Толли, Сперанским, Карамзиным, Державиным (кстати — соседом Аракчеева по имению), с Академией художеств и другими учреждениями и людьми. Эти документы могут в известной мере дополнить наши представления о государственной, военной, интеллектуальной и даже художественной жизни России первой трети прошлого столетия.

A stylized, handwritten-style signature or logo, possibly representing the letters 'СН' or 'СН' with a flourish.

АИНСТВЕННЫЙ

ГОСПОДИН

П.Щ.

ПРОЛОГ

О нем впервые услышали в Москве 13 апреля 1833 года. Скрыв свое подлинное имя, он совершил поступок, казавшийся невероятным: написал и опубликовал статью неслыханной дерзости. Газету, в которой впервые появились неведомые никому инициалы, рвали друг у друга из рук. Газетная статья воспринималась, как вызов, чуть ли не преступление. Автора, господина П. Щ., начали искать в тот же день.

1.

Той весной, в апреле, в Москву впервые приехал на гастроли легендарный петербургский трагический артист Василий Андреевич Каратыгин. Спектакли с его участием вызвали столпотворение. Московское высшее общество, не желая отстать от столичного, рвалось увидеть «первого и единственного русского трагика», «солнце русского театра», как окрестили артиста газеты. Особенный ажиотаж охватил московских дам. Им артист кружил головы красотой и статностью, благородством движений, страстностью монологов. Знатная московская аристократка Сухово-Кобылина, маменька будущего драматурга, вместо того, чтобы ехать на панихиду по князю Волконскому, куда призывали ее светские приличия, отправилась в театр — смóтредить Каратыгина. В книжных лавках продавались портреты артиста. Перекупщики взвинчивали цены на билеты до небывалых размеров. Готовились пышные обеды и торжественные чествования.

В день первого гастрольного спектакля вокруг здания Большого театра собралась неисчислимая толпа. «Па-берр-регись!..» — кричали кучера, осаживая лошадей у подъездов, тесня людей. У каждой двери стояли часовые и полицейские, пытаясь сдержать людскую лавину, готовую захлестнуть огромный театр. О том, сколько человек было затоптано — знали только полицейские надзиратели.

Спектакль — постановка трагедии Озерова «Дмитрий Донской» — шел триумфально. Кумир Петербурга поверг к своим ногам театральную Москву. Гремели овации. Дам, растроганных и потрясенных любовными страстями Дмитрия и его возлюбленной Ксении, приводили в чувство мужа и поклонники. Носовые платки промокли насквозь. А со сцены гремело:

...А ты, о Ксения, предмет моей любви,
Без коей бытия сносить бы я не мог,
Ты в мыслях от меня последний примешь вздох.
Когда б себя меж вас делить имел искусство,
Всю жизнь отечеству и Ксении все чувство,
Я с восхищением на веки б посвятил;
Ах, что я говорю: я б их не разделил...

А наутро случилось невероятное происшествие. Газета «Молва» выступила против Каратыгина! Затем — град новых ударов — семь статей одна за другой. Какие-то возмутительные «Письма в Петербург!» «Молва», приложение к журналу «Телескоп», «газета мод и новостей», как она себя называла, восстала против официозных изданий столицы. Автор, посмеявшийся пойти против общественного мнения всей России, — какой-то «П. Щ.».

Кто же он, этот безумный П. Щ.?

2.

— Кто такой П. Щ.? — спросил один из читателей Ленинградской театральной библиотеки у дежурного

библиографа С. Осовцова. А библиограф и сам слышал это звуко сочетание впервые.

...Семен Осовцов был одним из ленинградцев, кончавших московский театральный институт, ГИТИС имени А. В. Луначарского, весной сорок пятого года. Та весна шумела для всех особенно радостно. Институтская сессия казалась многим студентам на фоне сообщений Советского Информбюро чем-то незначительным. Осовцов же учился добросовестно, не пропускал, кажется, ни одной лекции и семинара, ходил по институту с огромным черным портфелем, набитым книгами, учебниками, конспектами, бутербродами и бог знает чем еще. Этот черный пухлый портфель служил для многих немym укором.

На комиссии по распределению Осовцову предложили должность инспектора молдавского Комитета по делам искусств.

— Да что вы, — вдруг воскликнул Борис Владимирович Алперс, замечательный историк русского театра, член комиссии, — разве можно посылать его на административную должность? Он же всю работу завалит!

Осовцов обиделся. И только через много лет понял правоту Алперса. Административная деятельность действительно оказалась ему противопоказана. Он вернулся в родной Ленинград и поступил на работу в Театральную библиотеку.

Собственно говоря, он служил здесь в качестве... уборщицы. Увы: у директора М. П. Троянского имелись две вакансии уборщиц и только одна — для библиографа. А библиотеке требовалось как раз наоборот. Недавний выпускник ГИТИСа согласился получать скромную зарплату уборщицы, но не для того, чтобы стирать с книг пыль веков, а, странное дело, чтобы дышать ею.

— Кто такой П. Щ.? — переспросил библиограф. — Это я вам сейчас скажу. Это недолго. Подождите минуту...

МОЛВА

ГАЗЕТА МОДЫ И НОВОСТЕЙ

ИЗДАВАЕМАЯ

ПРИ ТЕЛЕСКОПЪ.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Къ чему безплодно спорить съ властью?
Обычай — десница наша людей!

ПРЕЖДЕ.



МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФИИ М. СТЕПАНОВА.

1833.

Он открыл одну книгу, другую. Заглянул в карточки, справочники, каталоги. Минута бежала за минутой, читатель переминался с ноги на ногу, а дело не двигалось. Ответить на вопрос читателя в этот день библиограф к величайшему своему смущению не смог.

Осовцов не только досадовал на себя, но и страшился: истекал его испытательный срок — быть или не быть ему в библиотеке. И если ты не способен расшифровать первый же попавшийся псевдоним — тогда не податься ли и правда в уборщицы?

— Сейчас я ответить на ваш вопрос не могу; да и нужные архивы сегодня закрыты, а ключ у директора, и сегодня его не будет — придумывал на ходу молодой библиограф. — Зайдите через пару деньков.

Ах, если б он тогда знал, сколько лет, да что там, сколько десятилетий протянутся эти «пара деньков»!

Ясно поначалу было одно: танцевать надо от известной статьи Белинского «И мое мнение об игре г. Каратыгина» (она посвящена второму приезду артиста в Москву). Почему, собственно, название статьи начинается с союза «И»? Почему критик не написал просто: «Мое мнение...»? Оказывается, Белинский откровенно присоединился к мнению П. Щ. В тексте статьи он почтительно упоминает этого инкогнито: «И теперь в той же самой „Молве“ снова вышел на арену таинственный г. П. Щ.». И далее: «Таинственный г. П. Щ. что-то решительнее и резче, хладнокровнее и насмешливее в своем тоне...»

Белинский конечно же знал, кто такой таинственный господин П. Щ. В это время молодой критик Белинский был основным сотрудником и ближайшим помощником редактора «Молвы». Однако раскрыть тайну чужого псевдонима он не мог.

Тогда библиограф обратился к работам С. А. Венгера, историка литературы и выдающегося библиографа, который в конце прошлого века предпринял

титанический труд и выпустил в свет первое научное собрание сочинений Белинского с подробными комментариями. В примечаниях к упомянутой статье Белинского Венгеров писал: «Кто такой П. Щ., о котором с большим уважением Белинский говорит и позднее... нельзя было доискаться. И это очень жаль, потому что истории русской театральной критики, весьма бедной именами серьезных деятелей, следовало бы отметить имя этого талантливого рецензента. В своих немногих, но блестяще написанных статьях П. Щ. проявил и хорошее образование, и прекрасный вкус, и цельное эстетическое мировоззрение».

Но это еще не все. Венгеров добавляет: Белинский, блестяще дебютировавший своей статьей «И мое мнение об игре г. Каратыгина» на поприще театральной критики, тем не менее «не сказал тут ничего нового... Ничего индивидуально-оригинального Белинский не высказал». И еще прямее: «Главная задача статьи — выяснение ходульности и приподнятости игры Каратыгина — всецело составляет заслугу П. Щ., который в 1833 году своими нападками вызвал целую бурю».

Надо помнить, что это пишет биограф Белинского!

Осовцова всё это ошарашило. А уж не был ли таинственный господин П. Щ. в нашей отечественной литературе и журналистике чем-то вроде подпоручика Куже, фигуры, как известно, не имеющего?! К довершению удара библиограф вскоре обнаружил, что разгадкой этой интригующей тайны уже занимались до него известные и маститые ученые-филологи. Стоит ли в таком случае продолжать поиск и питать хоть малейшую надежду, если по этому пути уже прошел Венгеров, величайший из русских библиографов и текстологов?

Нет, магия авторитетов не должна останавливать, решил молодой библиограф. И погнался за тайной, ускользавшей от ученых более века.

«Его искусство было равнодушно ко всему, что носило печать живой, сегодняшней мысли, — писал Б. В. Алперс. — Его задачей было декорировать тогдашнюю скудную жизнь, так же как „украшали“ ее ведомственные здания в стиле „ампир“, военные парады на Марсовом поле, гулянья на Каменном острове и помпезные исторические полотна Бруни. Искусство Каратыгина входило необходимым элементом в парадный ритуал официального общественного быта российской столицы. И как ни банальна характеристика Каратыгина как лейб-актера Николаевской эпохи, она в основных своих чертах не требует сколько-нибудь серьезного пересмотра. Образ Каратыгина прочно вкомпонован в ландшафт николаевского Петербурга».

Это сказано в наше время. А в тридцатых годах прошлого столетия развернулась знаменитая дуэль между Каратыгиным и Мочаловым, великим московским трагиком. Судьями в ней стали критика, газеты и публика. Они тогда ни к чему не пришли. Верховный судья в вопросах искусства — Время. История присудила победу Мочалову. Ни один из противников не дождался окончательного приговора. Для его вынесения понадобились десятилетия. А таинственный господин П. Щ. выступил против Каратыгина, кумира законодателей партера и лож, да и самого царя, первым. Для этого требовались и глубокое знание сцены, и подлинный вкус, и, быть может, главное — смелость.

«Прикрываемый тайною анонима, я был не раз очевидным свидетелем ужасных ругательств, изливавшихся на дерзкого смельчака... — писал П. Щ. — Безусловные хвалители г. Каратыгина провозглашали неслыханным преступлением, оскорблением величества мои скромные замечания...» Нетрудно понять, что сокрытие своего лица под маской — не слишком-то надежно.

48

Выходит при Телекоп,
по Вторникам, Четвер-
гам и Субботам.



Цена в Москве 45 руб.
съ пересылкою 50 руб.
ассигнациями.

МОЛВА

1833. СУБОТА. АПРѢЛ 22.

В этом номере «Молвы» напечатано седьмое — последнее — «Письмо из Петербурга» первой серии статей таинственного господина П. Щ.

И вряд ли господин П. Щ. мог предполагать, что его инкогнито не будет раскрыто более целого столетия!

Но так решила история.

Взбудоражившие Москву и Петербург не меньше, чем сам Каратыгин, статьи П. Щ. «Письма в Петербург» действительно отмечены смелостью. Дерзкий автор посягнул на «солнце» русского театра.

«Он овладел мастерски наружною, лепною частью своего искусства, постиг тайну чаровать зрение, но еще не нашел ключа к сокровенному святилищу сердца... В выражении сильных страстей речь его возвышается до криков, к коим, кажется, никогда не при-

выкнет ухо. И это возвышение, очевидно, производится намеренно, для эффекта. Намеренность сия изобличается умышленным понижением предварительных речей, которому нередко приносится в жертву смысл их... Особенно монологи всегда пробегаются им сначала невнятно, скороговоркой, дабы на конце разразиться треском и громом...».

В этих строках нетрудно увидеть эскиз портрета Каратыгина, который через тридцать лет будет завершен Герценом: «Каратыгин, этот лейб-гвардейский трагик, далеко не бесталанный, но у которого всё было до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение...»

Москва гудела. Вряд ли нашелся бы читатель «Молвы», не желавший знать, кто такой господин П. Щ. Но редактор и издатель газеты Николай Иванович Надеждин, профессор Московского университета по кафедре теории изящных искусств и археологии, как и ближайшие сотрудники редакции, строго оберегали тайну своего корреспондента. Впрочем, Надеждин решил предоставить страницы «Молвы» не только для господина П. Щ., бросившего перчатку Каратыгину, но и тем, кто жаждал защитить артиста.

Первым ринулся в схватку С. П. Шевырев, известный в то время поэт, ученый и критик. Всячески превознося Каратыгина, Шевырев не мог сдержатъ раздражения, вызванного дерзостью таинственного инкогнито: «Г. П. Щ. сражается в маске. Не понимаю этой скрытности тем более, что он имел счастье привлечь на свою сторону сильного защитника в почтенном г. Издателе „Молвы“...»

Включился в яростный спор и молодой сотрудник редакции Белинский. Заканчивая свою уже известную читателю статью о Каратыгине, он писал: «О, нет!

Давайте мне актера-плебея... не выглаженного лоском паркетности, а энергического и глубокого в своем чувстве».

Плебеем был Павел Мочалов.

Плебеем был Виссарион Белинский.

Плебеем был, кстати сказать, и сам издатель «Молвы» Николай Надеждин, сын сельского дьячка, выбившийся в профессора, но всегда отделенный от аристократии барьером. Как это обстоятельство разбило его личное счастье, читатель узнает ниже.

Плебейские настроения выражал в своих дерзких статьях и господин П. Щ.!

Кто же он, всё-таки?

4.

Осовцов продолжал поиски, изучал материалы той эпохи, исследования современных ученых и обнаружил чрезвычайно заинтересовавшую его работу профессора Ленинградского университета Н. И. Мордовченко. Еще в 1936 году Мордовченко, изучая статьи П. Щ., перебрал всех литераторов, имевших касательство к литературной и театральной жизни тридцатых годов прошлого века. И оказалось, что единственный человек, чьи инициалы соответствуют загадочному псевдониму — Павел Степанович Щепкин. Догадаться было несложно: фамилии начинаются с буквы «Щ» довольно редко. Вообще-то говоря, П. Щепкин известен, как профессор математики. Но это обстоятельство не смутило Мордовченко: он знал, что Щепкин серьезно увлекался театром, общался на этом поприще с Белинским и руководил студенческим драматическим кружком, куда привел и своего родственника Михайло Семеновича Щепкина.

Казалось бы, всё сошлось!

Однако в 1945 году московский историк театра И. Крути подверг эту версию сомнению. Он установил,

что в период, когда печатались знаменитые статьи П. Щ., Щепкин был уже серьезно болен (а вскоре умер) и вряд ли решился бы и нашел в себе силы для столь страстного и смелого общественного выступления. Исследователь театра обратил внимание и на то, что Белинский, который с таким пиететом пишет о П. Щ., откровенно не питал никаких симпатий к своему университетскому инспектору П. Щепкину. Наконец, утверждал Крути, нет никаких данных о близости Щепкина с надеждинской «Молвой», а П. Щ. — человек явно ей близкий.

Став в 1950 году ненадолго аспирантом Ленинградского университета, Осовцов начал заниматься в семинаре у того самого профессора Мордовченко, чьи работы он недавно изучал. Аспирант подпал под обаяние и самого профессора, и его гипотезы и решил во что бы то ни стало разбить доводы Крути. Он отправился в архивы. И ему сразу же повезло. Неожиданно обнаружили воспоминания одного из бывших студентов Московского университета, в которых имеются такие строки: «Он (Надеждин) часто бывал у П. С. Щепкина... и, говорят, иногда просиживал у него всю ночь напролет». Значит редактор «Молвы» и Щепкин тесно общались! Вот она — разгадка! И тогда Осовцов сделал на семинаре Мордовченко доклад о П. Щ.

— Павел Степанович Щепкин был тяжело болен? — вопрошал он. — В последней стадии чахотки? На краю смерти? Что ж, это верно. Но разве Белинский не писал из Зальцбруна свое духовное завещание — знаменитое письмо Гоголю — на краю могилы?! И нашел же он для этого силу духа! Белинский не питал к Щепкину личных симпатий? Тем благороднее выглядит его поддержка статей П. Щ., тем убедительнее его неоднократные высказывания, что у него нет личных врагов, а есть только враги идейные! Наконец, Крути говорит об отсутствии тесных контактов господина П. Щ. с редак-

цией «Молвы»? Но и тут имеются возражения. — И Осовцов рассказал о сделанной им в архиве находке и о том, что Надеждин часто бывал у Щепкина и засиживался целыми вечерами.

Аспирант был уверен, что посрамил противников своего любимого профессора, и сел с видом победителя.

Мордовченко внимательно слушал сообщение аспиранта. А потом сказал:

— Я тронут рвением, с каким вы стремились подсадить меня на пьедестал. Но ученый не нуждается в подпорках даже со стороны преданных учеников. Спасибо вам за проделанную работу. Но сейчас нам с вами предстоит заглянуть в глаза правде. Мне также довелось кое-что обнаружить в архиве. Это — письмо Белинского к родителям. И вот послушайте, что он пишет: «...прихожу к Щепкину за одним делом, и он начинает меня ругать; говорит, что меня за это он отдаст, как какого-нибудь каналью, в солдаты и наконец с презрением начал выгонять из своих комнат!.. Надеюсь сорваться с казенного кошта, я дал себе клятву все терпеть и сносить, и потому ничего ему не сказал; случись же это ныне, то я разругаю его, как подлеца, нахаркаю ему в рожу, а если он еще стал бы забываться, то и разобью ее — и тогда уже меня отдадут в солдаты...»

Мордовченко оглядел растерянные лица своих учеников.

— Согласитесь, что кандидатуру Щепкина, как автора знаменитых статей, придется всё-таки отбросить, не стал бы Белинский говорить о статьях Щепкина с пиететом при подобных отношениях.

Когда кандидатура Щепкина отпала, другой профессор Ленинградского университета, один из видных советских филологов, М. К. Азадовский заявил: под псевдонимом П. Щ. выступал, очевидно, сам Белинский. В те годы театрального критика такого масштаба кроме него не существовало.

Белинский. Это звучало веско. И чрезвычайно заманчиво обогатить собрание сочинений великого критика десятью блестящими статьями. (Семь из них написаны в 1833 году, еще три — в 1835-м.) Удержаться от такого соблазна трудно, очень трудно. Но беда в том, что Белинский сам назвал эти статьи выдающимися, «каких еще не бывало на журнальных полях». Получается, что Белинский рекламирует самого себя? Как это не вяжется с обликом рыцаря без страха и упрека, каким остался замечательный критик в памяти потомков!

Нередко бывает, что человеку за всю его жизнь не снискать себе славы. На этот раз история преподнесла нам обратный случай. Слава автора «Писем в Петербург» уготовила ему почетнейшее место среди русских демократических писателей и критиков, но пьедестал оставался пустым. Не было человека, имеющего право на него вступить. Он не являлся на серебряный зов трубы. И эта удивительная, безымянная слава тревожила умы исследователей.

Есть еще способ исключения. Исключить всех тех, кто к этому факту непричастен... Осовцов стал перебирать театральных и литературных критиков того времени. Все они отпадали по разным причинам. И тогда пришла догадка: если таинственный литератор так упорно скрывал свое имя и ни за что не желал быть узнанным, значит намек, содержащийся в инициалах на реальное лицо, на Щепкина — игра, обман. Очевидно, что П. Щ. — псевдоинициалы! И Щепкин тут не при чем. Просто ему доверили сыграть роль ширмы.

Вместе с тем всё явственнее проступала деловая и духовная близость между господином П. Щ. и издателем «Молвы» Надеждиным, который явно одобрял статьи П. Щ., поощрял своего корреспондента и незамедлительно его печатал. Правда, Надеждин встал, по его выражению, «над дискуссией» и предоставил стра-

ницы своей газеты противникам позиции П. Щ. Но, листая «Молву», можно заметить, что господин П. Щ. явно уверен в поддержке редактора, не сомневается в ней.

Кто же из ближайшего окружения Надеждина, кроме Белинского, мог чувствовать себя в редакции подобным образом? Крупных литераторов в «Молве» было не так уж много. И наиболее значительным лицом этого круга следовало признать С. Т. Аксакова. Теперь он явился новым претендентом на то, чтобы надеть таинственную маску П. Щ.

В тридцатых годах Аксаков не стал еще классиком русской литературы, но был в окружении «Молвы» старшим по возрасту: служил цензором, потом инспектором межевого училища, и публиковал статьи, в том числе и о театре. Бывая в Петербурге, Аксаков видел Каратыгина еще до его гастролей в Москве и писал о нем.

Этот кандидат выглядел правдоподобно и заманчиво. Однако, Осовцов призвал на помощь не только документы, но и психологию. Прежде в своих статьях Аксаков не противопоставлял Каратыгина и Мочалова, как это станут делать молодые авторы «Молвы», а сопоставлял их, причем — в самом спокойном и мирном тоне. С чего же ему вдруг выступить против артиста так резко?

Поиск заходил в тупик.

5.

Обращала на себя внимание одна деталь: Надеждин обещал читателям «Молвы» завершить дискуссию о Каратыгине собственным резюме. Но слова не сдержал: на страницах газеты никакого резюме не появилось. Исследователи обращались даже к журналу «Телескоп», также издававшемуся Надеждиным («Молва» как я уже

говорил являлась приложением к журналу. — Ю. А.). Но и в оглавлении «Телескопа» не оказалось ничего похожего на обещанную статью.

Обратился к «Телескопу» и Осовцов. Он, однако, не принял на веру даже оглавление, а стал листать страницы журнала одну за другой. И вдруг...

И вдруг он обнаружил статью без названия, и в ней говорилось о Каратыгине! Более того: автор целиком поддерживал позицию господина П. Щ. и даже давал ей теоретическое обоснование!

Что же случилось с оглавлением? Почему на соответствующем месте в нем обозначена несуществующая в самом журнале статья «Проект исторического музея в Париже»? Исследователей тайны П. Щ. такое название, разумеется, заинтересовать не могло. Но оно-то их и обмануло. Очевидно, в последний момент «Проект музея» был заменен статьей о Каратыгине и о дискуссии в «Молве».

Но кто же ее автор?

И снова — загадка. Имя автора в те времена даже в журналах ставилось только в конце текста. А эта статья оборвана, окончание ее отсутствует. Несомненно, что она рассчитана на публикацию с продолжением. Однако в следующем номере журнала ни продолжения, ни окончания нет. Соответственно нет и подписи автора. Возможно, в дело вмешалась цензура. И имя автора снова вроде бы кануло в Лету.

Осовцов внимательно вчитывался в статью. Трудно не заметить хозяйского тона, в каком она написана. Такой тон может позволить себе только издатель. И вдруг — фраза: «Я должен... по данному слову высказать мое собственное мнение...» Так вот оно обещанное резюме Надеждина! Оно все-таки появилось в «Телескопе»!

Но кроме хозяйского тона поражало что-то удивительно знакомое, уже читанное где-то. Снова выдви-

гается эстетическая формула «Простота, естественность, народность» — Надеждин измеряет ею явления искусства. Очень уж знакомо возведение в идеал искусства природы, требование к художнику подражать ей... Ну, конечно, те же мысли и почти в тех же выражениях содержались в знаменитых статьях господина П. Щ.! Нет ничего удивительного, что издатель и редактор поддерживает идеи своего автора и корреспондента. Но Надеждин почти текстуально повторяет его мысли, выдавая их на этот раз за свои. Это уже похоже на плагиат!

Надеждина действительно можно было бы упрекнуть в плагиате. Можно — если только не предположить, что под псевдонимом П. Щ. скрылся он сам.

Осовцов принялся скрупулезно сопоставлять статьи П. Щ. со статьями Надеждина. Их идейное, творческое и формальное тождество бросалось в глаза. Но ведь всем изучавшим журналистику той эпохи известно, что Надеждин никогда не имел отношения к театральной критике. Человек необычайно широких и глубоких познаний, в высшей степени образованный, полиглот, он преуспел в истории, этнографии, фольклористике, лингвистике и многих других областях. Занимался даже высшей математикой и теорией игр. Отзыв о нем, оставленный Чернышевским, поразителен:

«Если бы здесь должно было представить полную оценку всей его ученой деятельности, мы отказались бы от такой задачи, превышающей силы наши. По многим и разнороднейшим отраслям науки, особенно касающимся России, он был **первым нашим специалистом...** Все отрасли нравственно-исторических наук, от философии до этнографии, были так глубоко изучены им, как редкому специалисту удастся изучить одну свою частную науку. Этим страшным запасом знания располагал ум необыкновенно сильный, светлый и проникающий, и потому, о чем бы он ни писал, **он проливал**

новый свет на предмет, какой бы науки ни касался, двигал ее вперед...» (Выделено мною. — Ю. А.)

Надеждин предстает у Чернышевского чуть ли не Ломоносовым девятнадцатого столетия! И только о его занятиях театром не было известно. Сказался стереотип мышления: он мешал сделать нужное допущение. Господин П. Щ. ни у кого не ассоциировался с Надеждиным. Известный гипноз пресловутых инициалов еще более укреплял уверенность, что редактор-издатель «Молвы» не имеет к статьям о Каратыгине прямого отношения.

Итак, тайна раскрыта. Осовцов написал статью «Разгадка П. Щ.» и отправил ее в журнал «Театр».

Уж не конец ли это нашей истории?

Нет. Скорее начало...

6.

Молодой исследователь, взявший на себя смелость открыть в науке нечто новое, обычно не сразу попадает в объятия заинтересованных старших коллег. Так случилось и на этот раз, когда Осовцов начал утверждать обнаруженную им истину.

К тому времени он стал аспирантом выдающегося советского ученого Василия Алексеевича Десницкого, признанного специалиста по русской и советской литературе, и однажды, на очередном семинаре, сделал сообщение о тайне П. Щ. Десницкий слушал молодого ученого не только внимательно, но и взволнованно. Как раз в это время он в качестве главного редактора готовил к выпуску в свет начальные тома первого полного академического собрания сочинений Белинского. Великий критик писал о господине П. Щ. И его высказывания следовало объяснить.

Комментарии к первому тому делала профессор В. С. Нечаева, известный литературовед, в то время

ведавшая сектором текстологии Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР. Ей, как говорится, и карты в руки. В своих примечаниях В. С. Нечаева уверенно сообщала, что таинственный господин П. Щ. — не кто иной, как С. Т. Аксаков. Это утверждение основывалось на том, что Аксаков был в «Молве» единственным опытным театральным критиком, неоднократно писавшем о Каратыгине. К тому же в одной из статей П. Щ. имеется фраза: «Я знаю г. Мочалова на сцене семнадцать лет...» Это сказано в 1835 году. При помощи несложных вычислений Нечаева показала, что, следовательно, П. Щ. видел Мочалова на сцене в 1818 году. Надеждин в это время — четырнадцатилетний подросток, рязанский семинарист, и вряд ли посещал Малый театр. По этой арифметике видеть Мочалова в 1818 году мог из предполагаемых лиц только Аксаков.

— Попробуйте опровергнуть эту арифметику, — сказал аспиранту Десницкий. — Буду рад, если вы найдете новые доказательства. Ваша версия меня убеждает. И хотя второй том Белинского уже подписан к печати, попробую на свой страх и риск внести в него хоть несколько строк и поставить читателя перед дилеммой: Аксаков или Надеждин?

Он выполнил свое намерение. В примечании под вопросительным знаком появилась фамилия Надеждина.

Но молодому исследователю хотелось большего. Ему хотелось заменить вопросительный знак на восклицательный. Он снова вернулся в архивы и стал изучать наследие тех, кто до него изучал наследие Надеждина.

Единственным человеком, кто знал о Надеждине всё и еще до революции защитил докторскую диссертацию на материалах жизни и творчества, был Николай Кирович Козьмин, в двадцатые годы — член-корреспондент Академии наук СССР. В Пушкинском доме хранится

его обширный архив, а в нем — неопубликованные материалы о Надеждине.

И снова — долгие дни работы над архивными папками. И вот на одном из многочисленных листков — выписка: «Статья о Каратыгине писана отцом Акс.». Под этими строчками — подпись: «Над. — Е. В. 20 апр.». Надеждин сообщает какому-то Е. В., что о Каратыгине писал Аксаков!

С этим нельзя не считаться: Козьмин всегда обращался с фактами добросовестно. Но тогда возникает новая загадка: кто такой Е. В.? Найти корреспондента Надеждина с такими инициалами оказалось невозможно: такого человека в окружении Надеждина не было. Но не выдумал же Козьмин эти инициалы!.. И вдруг — догадка: а почему эти инициалы непременно должны означать начальные буквы имени и фамилии? А если это обозначение имени и отчества? Близким Надеждину человеком в середине тридцатых годов была Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина. Не содержится ли выписанная Козьминым фраза в переписке Надеждина и Елизаветы Сухово-Кобылиной?

Их любовная переписка оставалась, пожалуй, единственной неизученной областью литературного наследия Надеждина. Ворох писем сохранил перипетии неудачного, драматически сложившегося романа. Исследователи не задерживались на этих нежных излияниях и любовных сетованиях, не проявляли к ним особого интереса.

...В самом начале тридцатых годов Надеждина пригласили в богатый аристократический дом Сухово-Кобылиных в качестве домашнего учителя Лизы, младшей дочери, тогда — шестнадцатилетней девочки. Профессору не было еще и тридцати. Вскоре учитель и ученица страстно полюбили друг друга. Узнав об этом, мать Лизы, властная и чванливая помещица, пришла в ярость. К тому же в дом проник слух:

статьи, написанные против Каратыгина, пишет или, во всяком случае, печатает в своей газете не кто иной, как сам их домашний учитель. Это оказалось последней каплей.

Старшая Сухово-Кобылина не могла допустить, чтобы сын захудалого деревенского пономаря смел претендовать на руку ее дочери. Профессору отказали от дома. Его воспитаннику посадили под домашний арест. А брат Лизы, Александр, будущий автор «Свадьбы Кречинского», «Дела» и «Смерти Тарелкина», человек довольно крутого нрава, заявил, что вызовет Надеждина на дуэль, а если ей не суждено состояться — вынужден будет убить его. (Уж не репутация ли человека с необузданным характером заставит современников через полтора десятилетия заподозрить Сухово-Кобылина в убийстве его любовницы Луизы Симон-Деманш?)

Между разлученными возлюбленными началась бурная переписка. Поначалу это водоворот многословных любовных сетований. Но вот...

«Благодарю! В то время как я имею глупость сходить с ума... ты занимаешься театральными (неразборчиво)... На одну себя пенять надо. Вольно было отдать сердце, душу, себя — всё — человеку, который находит довольно присутствия духа, чтобы заниматься критиками на Каратыгина и писать их в „Молве“...»

Надеждин, надо думать, страдал: возлюбленная отдалялась от него. Но что он мог поделать? Ведь «Молву» действительно издавал и редактировал он. От этого он не мог отречься.

Но вот другое письмо Лизы, тон его совсем иной:

«...Нет, мой ангел! Мой Николай, я не верю... Ты не был в театре? Не ты писал критику? Не ты ее пишешь!.. Успокой меня, друг милый, скажи!..»

И Надеждин сказал: написал письмо, которое, как и другие, пролежало в архивной папке более столетия и теперь заговорило вновь:

«О! друг мой. Раз навсегда уверься для своего и моего спокойствия — что меня перед тобою клеветают. Принесу т[ебе] А[нгел] первые и последние мои оправдания. Я в театре не был, о Каратыгине не было еще ничего написано; даже и «Молва» до сих пор не выходила... В «Молве» **точно будет статья о Каратыгине — написанная отцом Аксаковым...** А мне — где писать, когда я не могу даже читать корректуры?..

Друг мой! То ли еще скажут т[ебе] А[нгел], то ли могут сказать, когда меня не будет с тобою — подле тебя! А ты будешь верить — ты будешь страдать!.. О! как я могу выносить это ужасное состояние?» (Выделено мною. Ю. А.)

Помните? «Статья о Каратыгине писана отцом Акс.» ...Вот источник выписки Козьмина.

Не знаю, что испытал Осовцов, прочитав это письмо. Думаю, что от такой находки могло, что называется, потемнеть в глазах. Ровные строки, написанные четким бисерным почерком Надеждина, обладали силой неопровержимого свидетельства. Надеждин писал это весной 1835 года, когда Каратыгин вторично приехал в Москву (рассказывали, что на этот раз трагик ехал сюда со страхом), в те самые дни, когда господин П. Щ. снова обрушился на артиста.

Отцом Аксаковым Надеждин называл Сергея Тимофеевича Аксакова. Фраза «Я знаю г. Мочалова на сцене семнадцать лет» получала новое убедительное объяснение.

И всё это означало, что версия, с таким трудом выстроенная молодым ученым и вызвавшая доверие

даже у самого профессора Десницкого, рушилась. Очевидно Нечаева права. Господин П. Щ. — это Аксаков.

Такое поражение можно, правда, считать почетным: молодой специалист проявил упорство, поднял неизвестные еще материалы, сделал всё, что мог. Не его вина, что истина лежала не там, где он ее искал. Важно, что она обнаружена...

И Осовцов написал письмо в редакцию журнала «Театр» с просьбой приостановить публикацию его уже набранной статьи.

7.

Так что же — отречься от собственного убеждения? Но ведь оно возникло не на песке, а в результате серьезного анализа многих материалов. Интуиция склоняла к мысли, что Аксаков здесь не при чем. Надо работать дальше. И снова любовная переписка Надеждина и Лизы Сухово-Кобылиной оживляла перипетии разыгравшейся драмы. Обнаруживается еще одно важное письмо Лизы. Его можно назвать «душераздирающим». По стилю оно удивительно похоже на какой-нибудь сценический монолог Каратыгина:

«Ты!.. Все говорят это!.. Где же любовь? Если б они и предполагали, что ты любишь, то теперь бы разуверились! Боже мой! Всё нас разделяет!.. Ты дружен с Мочаловым! Боже мой! О если бы ты меня слушался!.. Сколько глупостей ты наделал! Дружить с Мочаловым... Ты!.. Ненависть к Каратыгину!.. Всё это ты!.. Продолжай, продолжай! А я буду плакать! Как мне весело слушать, что тебя равняют с Мочаловым, с этим пьяным — буяном — ты с ним друг!.. Ох! мой Николаша, прощай...»

Обман, предпринятый Надеждиным, сбил литературоведов с толку на многие годы, но семью Сухово-Кобылиных — только на пять дней. Все снова уверились,

что статьи господина П. Щ. пишет сам издатель «Молвы».

Однако Осовцову хотелось найти еще более прямое доказательство своей правоты и осуществленной Надеждиным мистификации.

И он нашел такое доказательство.

Теперь молодой ученый начал изучать творческое наследие Аксакова. В этой связи он обратился к «Молве», но не той, какую знает читатель.

Сыновья С. Т. Аксакова, московские славянофилы, решили в 1850-х годах издавать свою газету. Им захотелось назвать ее «Молвой» — в память о газете Надеждина, сыгравшей заметную роль в развитии русской культуры и прогрессивной общественной мысли. Увы: новая «Молва» ничем не напоминала прежнюю и вскоре зачахла. Но ее первый номер, если применить выражение А. Н. Островского, «дорогого стоит».

В первом номере новой «Молвы» появилась статья, подписанная так: «Сотрудник „Молвы“ 1832 года». Такой сложный псевдоним избрал себе для одноразового использования Сергей Тимофеевич Аксаков. Он стал к этому времени маститым писателем и решил отчески напутствовать начинание сыновей.

В статье Аксакова сказано:

«П. Щ. — этими буквами подписывал иногда Надеждин полемические статьи свои...»

Вот оно — последнее доказательство. Под забралом таинственного господина П. Щ. сражался Надеждин.

Теперь можно печатать статью в журнале «Театр». К чести тогдашней редколлегии журнала ее не смутили сомнения и колебания автора статьи. «Разгадка П. Щ.» была напечатана в конце 1953 года. Казалось бы, вопрос об авторстве знаменитых «Писем в Петербург» решен. Факты в науке — вещь упрямая. Однако ученые — тоже люди. Им, как и обычным людям, нелегко отказаться от привычных представлений, с которыми

они давно сроднились, отказаться под давлением упрямых фактов, обнаруженных другими. Вскоре в «Известиях Академии наук СССР» появилась статья профессора Нечаевой. Она повторила: Надеждин никогда не был известен, как театральный критик, а потому не может «конкурировать» с Аксаковым, человеком театра. Нечаева обратила внимание и на примечание, напечатанное в «Молве» под статьей Белинского «И мое мнение об игре г. Каратыгина». Несколько фраз текстуально совпадали здесь, в этом примечании, с фразами из статей П. Щ. А подпись под примечанием неожиданная — «Зам. Изд.». Что такое «Зам. Изд.»? Конечно же — заместитель издателя. А заместителем издателя в соответствующее время мог быть только Аксаков. Вывод: П. Щ. — все-таки Аксаков.

Слово было за Осовцовым. Надо было подумать: а существовала ли в первой половине прошлого столетия такая должность — «заместитель»? Оказывается — нет. Заместитель министра, например, именовался товарищем министра. И вот разгадка сокращения «Зам. Изд.» — замечания издателя.

А противники не отступали. Профессор Л. Д. Опульская в сборнике «Вопросы текстологии» поддерживала В. С. Нечаеву:

«С. Осовцов из письма Надеждина делает категорический, но мало основательный вывод...»

«Интерпретация документов, содержащаяся в статье С. Осовцова, совершенно произвольна...»

«В атрибуции С. Осовцова присутствует ряд очевидных натяжек и произвольных субъективных толкований...»

«Аргументация С. Осовцова гораздо более спорна в сравнении с доказательствами В. С. Нечаевой...»

Эти нападки и возражения давно утратили свою силу. Я же привожу их, чтобы показать, в какой острой полемике приходилось Осовцову доказывать свою правоту,

отстаивать свое мнение. Ведь и В. С. Нечаева, и Л. Д. Опульская — крупные ученые-литературоведы, ведущие советские текстологи.

Они тоже искали истину...

Время — беспристрастный судья — обычно рано или поздно примиряет научные споры, способствуя торжеству и прояснению истины. Многие уже начали понимать, что в результате работы Осовцова в наш литературный обиход вошел крупнейший прогрессивный русский писатель и критик, ближайший соратник Белинского, Николай Надеждин. Под маской таинственного господина П. Щ. рыцарски сражался он за демократическое искусство театра, и его победа решительно пережила его время. Теперь, в наши дни, интерес к творчеству и личности Надеждина настолько возрос и обострился, что впервые возник вопрос об издании его сочинений.

Талантливый ученый Ю. Манн, проделав большую собирательскую работу, подготовил к изданию однотомник Н. Надеждина «Литературная критика. Эстетика» — он выпущен в свет издательством «Художественная литература» в 1972 году.

Перед составителем неизбежно возникла проблема: включать ли в сборник статьи П. Щ.? Не включать — значило не только игнорировать работы С. Осовцова, получившие большой резонанс в специальной печати, но и, несомненно, обескровить ценное издание. Пройдя по следам полемики между Осовцовым и его оппонентами, взвесив все аргументы, составитель решительно включил статьи, подписанные инициалами П. Щ., в сборник и напечатал их в книге, на переплете которой стоит имя Николая Ивановича Надеждина.

Вместе с тем Ю. Манн, ученый в высшей степени щепетильный, знал, сколько состоялось опрометчивых атрибуций, засоривших чужими произведениями собрания сочинений некоторых классиков. Поэтому он

принял решение печатать в сборнике Надеждина не десять существующих, а семь статей первого цикла (1833 г.). Три статьи второго цикла (1835 г.) он не включил, объяснив в комментариях к сборнику свое решение тем, что «непроясненными остаются один-два момента».

Осовцов решил взяться за разъяснение и этих моментов. Первый из них состоял в том, что известный читателю довод В. Нечаевой, связанный с фразой «Я знаю г. Мочалова на сцене семнадцать лет...», так и остался без опровержения. Пришлось обратиться к биографии Аксакова — ведь Нечаева утверждала, что эту фразу мог написать только он. И вот абсолютно достоверные данные: с августа 1816 года по осень 1820 года Аксаков прожил в деревне и в Москву ни разу не приезжал. Для того чтобы приписать злополучную фразу П. Щ. Аксакову, надо доказать, что писатель был в Москве и, соответственно, в Малом театре в 1818 году. А сделать это невозможно. Зато юный четырнадцатилетний Надеждин, живший тогда в Рязани, готовясь к поступлению в Московскую духовную академию, вполне мог в 1818 году оказаться в Москве и попасть в Малый театр — двести верст не такая уж серьезная преграда для любознательного молодого человека.

Другим непроясненным моментом Ю. Манн считал аргументы литературоведа Л. В. Крестовой, также включившейся в полемику на стороне оппонентов Осовцова. Читая дневники М. П. Погодина, Крестова обратила внимание на то, что в них — в связи со статьями о Каратыгине — несколько раз упоминаются какие-то обиды на Аксакова. Уж не обиды ли это из-за статей П. Щ.? Возникла идея: раз существует связь между статьями П. Щ. и Аксаковым, значит Аксаков тоже участвовал в написании статей П. Щ. и является если не автором, то, во всяком случае, соавтором их.

Осовцов, отлично знавший материал, удивлялся, читая Крестову. Почему Погодин, тесно друживший с Аксаковым, без конца испытывает по отношению к другу какие-то обиды? Этот ларчик также открывался несложно. Исследователя Крестову подвел чудовищно неразборчивый почерк знаменитого историка. Оказалось, что еще сто лет назад первый биограф Погодина Н. П. Барсуков разобрал в рукописи это слово — «обиды». Правильно оно читается иначе — **обеда**. Автор записи почти ежедневно обедал у Аксакова. Это, понятно, сильно меняло дело.

Хочется думать, что во втором издании однотомника Надеждина в книгу будут включены все десять его знаменитых статей о театре.

8.

Может возникнуть вопрос: зачем, собственно, потребовалось Надеждину так тщательно маскироваться, прятать свое имя, скрывать авторство «Писем в Петербург»? Неужели только из-за Лизы Сухово-Кобылиной, семья которой, да и она сама не простили ему этого «предательства»?

Пожалуй, еще более веской причиной осторожности Надеждина явились серьезные опасения за судьбу его изданий — «Телескопа» и «Молвы», да и за собственную безопасность. Ведь руку он поднял не против одного актера — против целого сословия России, чьим кумиром был Каратыгин.

Накануне второго приезда Каратыгина в Москву, здесь побывал С. С. Уваров, только что назначенный министром просвещения. Он вызвал Надеждина и потребовал «положить конец ругательным критикам и дерзким личностям». Если б он знал, что «дерзкая личность» как раз и сидела перед ним в его кабинете! Увещевали Надеждина и другие высокопоставленные

московские чиновники. Его предостерегали. Призывали «быть осторожнее».

Увы, Надеждин не стал осторожнее. В одном из номеров «Телескопа» за 1836 год он напечатал... «Философическое письмо» Чаадаева, которое сам автор назвал «обвинительным актом» против России. Чаадаева высочайше объявили сумасшедшим и лишили права печататься. «Телескоп» запретили. Николая Надеждина после длительного следствия сослали в Усть-Сысольск. А Лизу Сухово-Кобылину выдали в Париже замуж за графа Салиаса де Турнемира; впоследствии она стала писательницей Евгенией Тур. Но это — уже другая история.

А свой рассказ мне хочется закончить словами Чернышевского о Надеждине: «Он один тогда понимал вещи в их истинном виде. Его не понял никто... Он явился слишком рано и оставался одинок... Выражаясь любимым его языком классической поэзии, он незабвенен для нас, как Хрон, воспитатель Ахиллеса».

ЭПИЛОГ

Историческая несправедливость, случается, выпадает на долю выдающихся умов. Но та, что досталась Николаю Надеждину, оказалась вопиющей.

Ученые не раз обращались к творчеству Надеждина и прежде. Но в их восприятии и оценке выдающийся русский писатель и публицист неизменно оказывался одной из малых планет той системы, где в центре сияет солнце Белинского. Так близоручко взирали на литературный небосклон даже те, кто прекрасно знал и превозносил статьи господина П. Щ. и ставил их выше творений Белинского. Только один Чернышевский с его гениальной прозорливостью разглядел истинный масштаб личности и деятельности Надеждина, поставив

его в ряд «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов». Интересно, что такую высокую оценку Надеждину Чернышевский давал, даже не подозревая, что кроме всего, чем славен Надеждин, кроме титанических его трудов во многих науках — кроме всего этого он под забралом господина П. Щ. явился еще и яркой звездой русской театральной критики!

Да, у Осовцова, открывшего нам подлинного Надеждина, было немало оппонентов. Но нашлись люди, поверившие в его открытие с самого начала. Среди них — советский драматург Н. Ф. Погодин; в качестве главного редактора журнала «Театр» он и дал возможность молодому ученому сделать в журнале свою первую публикацию. Среди них — и И. Л. Андроников; это ему принадлежит такое заявление: «Если бы не С. М. Осовцов, у нас не было бы никаких оснований судить о взглядах Николая Ивановича Надеждина на театр по той простой причине, что до исследований Осовцова мы даже и понятия не имели о театральных работах Надеждина».

Так, с опозданием более чем на столетие, был заново открыт выдающийся русский писатель и критик, который по масштабам его личности и творчества сопоставим с Виссарионом Григорьевичем Белинским.



округ
«РЕВИЗОРА»

1.

Плавание выдалось неудачным. Пароход, совершавший рейсы на гамбургской линии, часто останавливался — машина то и дело выходила из строя. Труба сильно дымила и осыпала копотью смельчаков, решавшихся покинуть каюты и выйти на палубу. Вместо четырех дней плавание растянулось на одиннадцать. По ночам сильно качало, и сквозь вой ветра слышны были крики испуганной Марии-Жозефины — мадам Барант, жены французского посла. В довершение бед на седьмой день плавания в своей каюте скончался граф Мусин-Пушкин, и на судне оказался покойник... Гоголь подолгу стоял на палубе, пренебрегая копотью, смотрел на волны и с раздражением вспоминал события последних месяцев, заставившие его покинуть родину.

Всё началось со злосчастного для него дня 19 апреля, когда на сцене петербургского Александринского театра впервые была представлена его новая комедия — «Ревизор». В тот же вечер Гоголя охватило досадно-тягостное настроение. Актеры, как ему казалось, не поняли пьесы, особенно — Дюр, сыгравший Хлестакова водевильным шалопаем. Публика разделилась. Одна ее часть восторженно хлопала и хохотала — в числе таких зрителей оказался поначалу и император Николай I, неожиданно приехавший в тот вечер в театр; другая бранила сочинителя. Задетые чиновники кричали, что для автора, как видно, нет ничего святого. Задетые полицейские, купцы, литераторы, все, кто увидел в комедии самих себя, поносили ее.

Через пять недель после премьеры в Петербурге комедия была показана в Москве на сцене Малого театра, и всё повторилось. Небезызвестный в Москве граф Толстой-Американец, о котором в «Горе от ума» говорится: «...и крепко на руку нечист», громко заявлял, что Гоголь — «враг России», и что «его следует в кандалах отправить в Сибирь». Возмущался Гоголем на свой лад и генерал Панаев: «Какой-то коллежский регистраторишка дерзает осмеивать самих губернаторов!» Директор департамента Вигель, завсегда литературных салонов, еще не успев посмотреть «Ревизора» и лишь наслушавшись толков о новой комедии, писал из Петербурга в Москву Загоскину: «Я... смело называю это клеветой в пяти действиях». Один из московских театралов объяснял Щепкину, игравшему городничего, недостаточный успех комедии: «Помилуй, как можно было ее лучше принять, когда половина публики **берущей**, а половина **дающей**?»

Но главный удар обрушили на Гоголя газеты. Как будто сговорившись, они объявили комедию вздорным, недостойным и вредным фарсом. В один голос писали о «невероятности» представленных в пьесе событий и лиц, об их «несбыточности». Кричали о том, что «административные злоупотребления» не могут быть предметом и содержанием пьесы для театра, а карикатуры — персонажами спектакля. «Так незачем было и клеветать на Россию», — писал в своей «Северной пчеле» Булгарин. Ему вторил в «Библиотеке для чтения» Сенковский. Начиналась настоящая травля.

И только один голос громко и страстно раздался в защиту писателя и его комедии. Точная и тонкая оценка «Ревизора» прозвучала в блестящей статье, напечатанной в московской газете «Молва». Подпись под статьей выглядела таинственно: А. Б. В. Номер «Молвы» со статьей смелого А. Б. В. появился у подписчиков и читателей 16 июня 1836 года.

В этот день Гоголь сходил по трапу парохода в гамбургском порту.

Статья А. Б. В. о «Ревизоре» — не только художественно-театральное, но и острейшее политическое выступление. К нему в разные годы и с разных позиций, но всегда с исключительным вниманием обращались писатели Лажечников и Загоскин, поэт Николай Станкевич, Чернышевский, Добролюбов, академик Н. С. Тихонравов, а позднее и многие советские ученые, начиная с Луначарского. Смысл статьи вышел далеко за рамки театральной рецензии или «хроники», как названа она в заголовке. В ней нет и намек на спокойное исследование предмета. Она написана с темпераментом бойца. Каждой мыслью, каждым своим утверждением сражается неведомый автор за демократические идеалы против прямых и конкретных противников.

А. Б. В. сражался яростно и бесстрашно. Он демонстративно называл себя «простолюдином», что не сулило ему симпатий светского общества. Он поднял настоящий бунт против аристократической публики кресел и лож, «для которой посещение спектакля есть одна из житейских обязанностей, не радость, не наслаждение... Эта публика не обнаруживает ни печали, ни радости, ни нужды, ни довольства...» Он поднял свой голос против мнения всей тогдашней официозной критики, показав ее глупость и лживость: «Ошибаются те, которые думают, что эта комедия смешна и только. Да, она смешна, так сказать, снаружи; но внутри это горегореванье, лыком подпоясано, мочалами испутано». Он даже посмел предложить московскому обществу не пенять на зеркало! Говоря о персонажах комедии, он восклицал: «Посмотрите: они, эти господа и господа, гуляют по Тверскому бульвару, в парке, по городу, и везде, везде, где есть десяток народу, между ними наверно один выходец из комедии Гоголя...»

Одним словом, статья о «Ревизоре», появившаяся в «Молве» летом 1836 года, оказалась единственной верной оценкой комедии в первой половине прошлого столетия. Она и сегодня остается выдающимся памятником русской демократической критики.

Но кто же такой А.Б.В.? Вот вопрос, который не давал ученым покоя на протяжении целого века.

Первыми, кто назвал автором статьи о «Ревизоре» Белинского, были его враги. В болгаринской «Северной пчеле» появились язвительно-иронические строки некоего анонима: «Судя по слогу, энергии, логике и вежливому тону, она сочинена г. Белинским». Мы знаем теперь, что это ядовитое высказывание принадлежало М. Н. Загоскину. Возглавив к этому времени дирекцию московских императорских театров и считая себя великим драматургом, чуть ли не русским Мольером, Загоскин не мог пережить шумного успеха «Ревизора», да еще на подчиненной ему сцене.

Представьте себе: известный, маститый по тому времени писатель и драматург, вместе с тем — крупный правительственный чиновник, садится в своем пышном кабинете за письменный стол и строчит в редакцию газеты анонимное письмо, лишь бы принизить успех другого автора, лишь бы очернить своего конкурента!

Впрочем, Белинский и вправду очень подходил для роли автора загадочной блестящей статьи. Он был ведущим молодым сотрудником «Молвы»; примыкал к демократическим зрителям — а ведь именно к ним причислил себя А.Б.В.; высоко ценил Гоголя и смело, как и А.Б.В., сражался с Булгариным и Гречем.

Белинский подходил... Однако, прочитав «Северную пчелу» с намеком на его авторство, критик выступил с решительным опровержением подобной догадки. Он заявил, что ему было бы очень приятно подписать свое имя под статьей о «Ревизоре», но долг справедливости повелевает ему отклонить незаслуженную

честь. Вместе с тем, открыто объявил Белинский, он «согласен с большею частию мнений, выраженных в этой статье с талантом, умением и знанием своего дела».

Как ни странно, по прошествии столетия, некоторые советские исследователи заново пытались приписать авторство статьи самому Белинскому, игнорируя заявление великого критика. Им, видимо, казалось, что лучшая театрально-публицистическая статья эпохи может быть написана только лучшим критиком эпохи. Дошло до того, что журнал «Театр» уже после войны перепечатал эту статью под именем Белинского. Под тем же именем включена она в литературные хрестоматии, множа ошибку огромными тиражами.

Доказать авторство великого критика, однако, не удалось. Иначе, кроме всего прочего, пришлось бы допустить, что скромнейший и щепетильнейший Белинский в своем ответе «Северной пчеле» назвал собственную статью «замечательной», написанной «с талантом». Даже в порядке шутливой мистификации это, разумеется, исключено.

Еще в прошлом столетии возникли и другие предположения. Молодой поэт Николай Станкевич в письме спрашивал Белинского: «Кто писал о ревизоре? Очень умно. Только странная конструкция и прилагательные после существительных заставляют меня подозревать, что это Селивановский».

Эта догадка зафиксирована и в первом томе советского Словаря псевдонимов И. Ф. Масанова (1956). Там можно прочесть: «А.Б.В. — Ник. Сем. Селивановский, „Молва“, 1836». Так полагали в литературоведении еще совсем недавно, всего два десятилетия назад. Защитники «селивановской» версии, в том числе и крупнейшие знатоки литературной жизни 30-х годов прошлого века, в качестве главного своего аргумента выдвинули свойственную этому второстепенному журналисту необычную конструкцию фраз. Они

утверждали, что этот признак резко выделяет Селивановского из всего известного нам литературного окружения Белинского, и что именно подобной конструкцией фраз отличается литературный стиль А.Б.В.

Разумеется, литературоведение — наука в достаточной степени точная, а эмоциональные оценки могут привести здесь к ошибке. Но нетрудно понять тех, в ком кандидатура Селивановского, как автора великолепной статьи о «Ревизоре», вызвала разочарование. Получалось, что мышь родила гору.

В самом деле, если вдуматься, — в те весенние дни 1836 года в российских столицах произошли чрезвычайные события. Еще не было, пожалуй, такого случая, чтобы все ведущие газеты Петербурга писали о каком-либо явлении на театре буквально в одних и тех же выражениях, теми же словами, будто под копирку. Совпадения так полны, что допустить случайность здесь невозможно. Образное выражение «как по команде», похоже, отражало подлинную прозаическую суть событий. Команда, очевидно, действительно прозвучала.

Известно, что еще в 1826 году театральная цензура в России была исключена из общей и передана непосредственно в III отделение собственной его императорского величества канцелярии. Теперь, вполне возможно, редакторов газет пригласили в III отделение для «беседы». И дали им рекомендации, как отнестись к новой комедии Гоголя. Многое свидетельствует о том, что правительство решило использовать печать и общественное мнение для дискредитации «Ревизора».

Разумеется, ничего не стоило просто запретить комедию. Но у правительства хватило ума не делать этого. Опыт предыдущих литературных запретов оказался печальным. Запретили «Горе от ума» — и вся Россия повторяла наизусть летучие строки гениальной

комедии; многие грибоедовские сарказмы стали крылатыми. Запретили «Бориса Годунова» — а Пушкин читал его во многих домах, и трагедия получила широкую известность. Запретили лермонтовский «Маскарад» — а поэт стал писать к своей драме все новые сцены, списки ее множились в Петербурге. Запреты оказались неэффективными. Теперь пробовали новый способ: разрешить и уничтожить; объявить комедию пошлым и вредным фарсом, ничего не дающим ни уму, ни сердцу; недостойной карикатурой.

Тем более мужественным выглядит смелый поступок таинственного А.Б.В. — он не внял рекомендациям властей и решительно выступил против них в защиту Гоголя и его гениального детища. Неужели на такой шаг решился Селивановский?

Так рассуждал ленинградский ученый С. Осовцов, доцент Ленинградского института культуры имени Н. К. Крупской, кандидат искусствоведения. Незадолго до того он с азартом настоящего исследователя докопался до разгадки тайны господина П. Щ. Теперь перед ним возникла другая загадка, и рождена она была той же эпохой.

«Селивановская» версия авторства статьи разочаровала, впрочем, не только Осовцова. Профессор В. С. Нечаева, также критикуя эту версию, выдвинула гипотезу коллективного авторства. Она состояла в том, что в создании статьи принимали участие два писателя: С. Т. Аксаков (он нередко подписывался в журналах литерой «А») и В. П. Боткин (его обычная подпись — «Б. В.»). В сумме обоих псевдонимов и получается А. Б. В.

Исследуя текст знаменитой статьи, Осовцов понял, что ни Аксаков, ни Боткин — ни вместе, ни порознь — не могли быть ее авторами. И привел убедительные возражения.

Прежде всего, оба автора принадлежали к различным поколениям, (Аксаков был старше Боткина на двадцать лет). Несовместимы их творческие индивидуальности. Текст статьи не дает оснований усмотреть в нем почерк кого-либо из этих литераторов. Но и это не всё. Совершенно ясно, что ни Боткин, начинающий литератор, позднее — откровенный западник и эстет, ни тем более Аксаков, называвший себя барином, не стали бы маскироваться в статье под личиной простолюдина. А ведь А. Б. В. называет себя человеком, для которого не только городничий, но и бедный полуголодный чиновник какого-нибудь министерства олицетворяет власть, возбуждает страх и уважение. Наконец, еще один важный довод. Аксаков оставил обширнейшие и подробнейшие воспоминания о Гоголе, дружбу с которым считал величайшим счастьем своей жизни и безмерно гордился ею. В этих воспоминаниях фиксируется каждая мелочь, любая деталь отношений двух писателей. И конечно же Аксаков не упустил бы случая рассказать, как в свое время поддержал он травимого всеми «Ревизора», если бы это было так. Однако о статье А. Б. В. у Аксакова нет ни звука.

После длительной эпопеи раскрытия загадки П. Щ. Осовцов понял, что разыскивать автора, скрывшего свое имя за криптонимом, способом прямой расшифровки инициалов — дело бесперспективное. Слишком часто такой способ раскрытия литературных загадок вел в тупик. Поэтому ученый снова занялся вдумчивым исследованием стилистики статьи. На необычной конструкции фраз строили свои догадки защитники «селивановской» версии. Но, может быть, не только Селивановский писал подобным образом?

Если человек ищет разгадку какой-либо проблемы упорно и последовательно, ему рано или поздно улыбнется счастье. Он изучает самые различные и неожиданные документы, но всегда — с позиций своего поиска,

своей главной заботы. И нередко документы открывают такому исследователю то, что скрыли от его предшественников.

Еще В. С. Нечаева видела в Институте русской литературы сохраненный временем и архивом донос, написанный в III отделение неким Н. Кашинцевым, очевидно — штатным осведомителем ведомства Бенкендорфа. Но не обратила на него должного внимания, не заметила маленькой детали, весьма красноречивой и важной. Теперь над старым доносом склонился другой исследователь — читал внимательно, вглядываясь в каждое слово, в его начертание, внимательно рассматривал бумагу и след пера доносчика.

Осведомитель доносил начальству 2 декабря 1836 года:

«Говорят, что Надеждин...»

Опять это имя пересекалось с научными интересами Осовцова!

«... имел особенную дружбу (если таковой человек может ее к кому-либо иметь) с молодым Селивановским, недавно наследовавшим типографию отца своего. Есть мрачный глухой гул, что будто бы типография сия подвергалась подозрению еще в 1826 году по доносу барона Штенгеля... У сего Селивановского, говорят, бывали частые беседы по субботам... По секретным сведениям замечено, что после происшедшего с Чаадаевым, Селивановский все бумаги свои собрал и снес в особую комнату и сказывается больным. Говорят, что он необыкновенно трусливого характера. Кажется, он в «Молве» много помогал в статьях о театре ругать Надеждину дворянство, называя его чопорною аристократиею...»

Важность этого документа состоит не только в том, что он характеризует Селивановского, как человека «необыкновенно трусливого характера», а трус, да еще необыкновенный, не стал бы, очевидно, выступать в печати с антиправительственной статьей, пусть даже скрывшись за псевдонимом. В. С. Нечаева не обратила внимания на то, что слова «о театре» в осведомительной записке специально подчеркнуты. Черта под словами «о театре», заметил Осовцов, проведена Кашинцевым уже после того, как он закончил всю фразу, а, может быть, и всю записку. Чернила на пере кончались. Черта получилась значительно бледнее текста, а минувшие годы — более столетия — почти совсем обесцветили росчерк. Но бумага сохранила две вдавленные линии — след усиленного нажима двух половинок остро отточенного гусиного пера. Доносчик явно хотел обратить внимание читающего на статьи о театре.

Если же подумать, в какой статье «Молвы» о театре более всего ругается дворянство, то это как раз — рецензия А. Б. В. на «Ревизора».

Тем не менее, приведенный донос осведомителя III отделения не мог, конечно, явиться исчерпывающим источником для того, чтобы выявить и назвать искомого таинственного автора. Осовцов принялся придирчиво сопоставлять стилистику А. Б. В. со стилистикой Надеждина, издателя «Молвы» и ее редактора, человека, отлично известного своими демократическими взглядами и недюжинной смелостью. Его выступления против Каратыгина за подписью П. Щ. доказывали это.

Разумеется, изучением примет литературного стиля А. Б. В. и Надеждина также нельзя было ограничиться. Предстояло исследовать и другие грани творческого облика предполагаемого автора статьи: идейные, биографические, эстетические, социальные и многие другие. Ученый поднял огромные пласты неизвестных прежде материалов. Факты, сопоставления, новые ар-

хивные данные, фразеологический, лексический и грамматический анализ подтвердили открытие: А. Б. В. — за этими инициалами, вернее псевдоинициалами, скрывался выдающийся русский критик Николай Надеждин. Статья в защиту «Ревизора» стала вершиной его творчества.

Через несколько месяцев после ее опубликования «Молва» была закрыта, а Надеждина сослали в Усть-Сысольск.

Но почему же все-таки Надеждин избрал для подписи под статьей о «Ревизоре» псевдоним А. Б. В.?

За полгода до появления «Ревизора» Надеждин находился за границей. Обязанности издателя и редактора «Молвы» исполнял в его отсутствие Белинский. Вся линия выступлений молодых сотрудников «Молвы» вызывала раздражение и озлобление Булгарина. Он напечатал в «Северной пчеле» провокационную статью, где, в частности, манипулировал инициалами Белинского — В. Б.

Он писал о молодых сотрудниках «Молвы», что они «от времени до времени наезжают из-за угла на нашу словесность с опущенными забралами, с ужасными копьями, вырванными из гусиных перьев, с картонными щитами, на которых красуются девизы неизвестных рыцарей... Тут найдешь и А. и Б. и В., словом сказать: всю нашу азбуку». Далее дело принимало еще более серьезный оборот, газетная статья тоже начинала смахивать на донос: «Подавай нам новых идей! — кричали некоторые полоумные головы в Европе, которым надоели и старый порядок вещей, и старые вековые идеи, и старый здравый рассудок, одним словом, вся природа весь свет. — И нам давай новых идей! — кричали знаменитые наши философы и критики А. Б. В. и компания...»

Вернувшись в Москву и решив выступить со статьей в защиту Гоголя, которой суждено было остаться одним из шедевров русской демократической критики, Надеж-

дин избрал себе псевдоним А. Б. В. То были инициалы, которыми, по его словам, Булгарин хотел уязвить «плебейскую безыменность в литературной иерархии».

Псевдоним стал девизом и знаменем.

2.

Так может сложиться судьба не только уголовного дела. Литературные памятники хранят иногда свою загадку подолгу, десятилетиями, веками. Но приходит пытливый исследователь — и недостающее в цепи событий звено обнаруживается, непонятные строки раскрывают свой тайный смысл. Так случилось с одним из писем Гоголя.

До недавнего времени ученые, литературоведы, не раз читали и перечитывали письмо Гоголя, написанное в 1837 году из-за границы Демидову, известному горнозаводчику и богачу, владельцу уральских чугуноплавильных заводов; но понять его не могли. Что связывало писателя и промышленника-миллионера? О чем так туманно писал Гоголь Павлу Демидову в своем довольно длинном письме? Оно звучало загадочно:

«...Нет, во что бы то ни стало, но я должен вас видеть... Никогда бы я не приблизился к вам. Ваше богатство стояло передо мною рубежом, как вдруг ваш раздавшийся голос и ваше полное великодушие предстательство обо мне, вам неизвестном, внимание к малой крупице моего таланта — все это меня тронуло сильно... Это было одним из приятнейших моих воспоминаний, какие только вывез с собою из России. Но, признаюсь, я убегал старательно встречи с вами...»

Любой, кого интересует это письмо, может обратиться к комментариям XI тома Полного собрания сочинений Гоголя (Издательство АН СССР, 1952). Комментатор справедливо сообщает о разнице в общественном положении, которую Гоголь воспринимал очень остро. Но далее начинает фантазировать. Вспом-

нив, что писатель однажды демонстративно не поехал к Демидову на званый обед, автор комментариев приходит к выводу: «Желанием загладить отсутствие на этом обеде, вероятно, и объясняются начальные фразы этого письма». Итак — сплошные догадки и домыслы: «повидимому», «вероятно»...

Стоит внимательно перечитать письмо — и сразу чувствуешь неубедительность таких догадок. Подумайте сами: неужели из-за пропущенного обеда стал бы Гоголь писать кому-либо столь многозначительные строки? И неужели приглашение на обед осталось «одним из приятнейших воспоминаний» писателя о Родине?!

Ответить на все эти вопросы взялась Елена Сергеевна Кулябко, старший научный сотрудник архива Академии наук СССР в Ленинграде.

Читатель уже знает, что Гоголь покинул родину летом 1836 года, не выдержав травли «Ревизора». Он писал из Парижа петербургским друзьям, что на «Ревизора» ему «плевать», и вообще с какой стати ему без конца сообщают об успехе его комедии у публики? Но кроме всего этого почему-то спрашивал: «Где теперь Демидов Павел Николаевич?»

Разбирая старые архивы, связанные с историей Академии наук, Е. С. Кулябко заинтересовалась: а не встречаются ли в них какие-нибудь бумаги Демидова? Оказалось — есть такие бумаги. И чрезвычайно интересные. Еще в 1830 году П. Н. Демидов, решив выступить в качестве мецената, пожертвовал Петербургской Академии наук 25000 рублей ежегодно — для премирования выдающихся сочинений в разных отраслях знания. Право выбирать кандидатов, наиболее достойных премии и золотой медали его имени, Демидов не сохранил за собой, а предоставил Академии наук. Жест промышленника выглядел благородно, но был наивен, если иметь в виду, что президентом Академии в то время

состоял С. С. Уваров, человек крайне реакционных взглядов. Такой же ориентации придерживались, естественно, и его ближайшие помощники — академики А. К. Шторх и П. Н. Фус.

Высшее научное учреждение России вроде бы с горячей благодарностью восприняло щедрый дар. Синклит ученых утвердил положение о Демидовских премиях, а самого Демидова единодушно избрал почетным членом Академии, «чтобы гласно заявить ему тем самым, сколь высокую цену придает Академия его денежному пожертвованию». Впрочем, положение о Демидовских премиях, направленных к расцвету просвещения в России, было напечатано... лишь на французском и немецком языках.

На рабочем столе Елены Сергеевны лежала неопубликованная переписка по поводу Демидовских премий. Это архивное дело оставалось «глухим» более столетия. Впрочем, премированные Академией авторы действительно не вызывали особого интереса. Но вдруг на листе бумаги — имя Гоголя! Кто же и кому пишет о великом писателе? Пишет Демидов. Кому? Академику Фусу; и как раз в те весенние дни 1836 года, когда Гоголь, удрученный и отчаявшийся после премьеры «Ревизора», собирался за границу.

Письмо Демидова заговорило снова.

«Милостивый государь Павел Николаевич!

Не безызвестно Вам, что цель пожертвования моего двадцати пяти тысяч ежегодно в российскую императорскую Академию наук содействовать пользе и славе отечественной на поприще литературном. Поприще сие ныне украшено новым произведением г. Гоголя под названием: «Ревизор, комедия в пяти действиях». Нельзя не отдать спра-

ведливости точнейшему описанию нравов, поставленных им на сцену лиц и национальности наречий. Словом, по живописанию характеров сие сочинение г. Гоголя может считаться образцовым. Это уже и подтверждается тем восторгом, с каким оно принято публикой, и вниманием государя императора, удостоившего первое представление сей комедии своим присутствием. Мне весьма бы желалось, милостивый государь, чтоб сие творение г. Гоголя было увенчано одною из золотых медалей, учрежденных на счет суммы, мною ежегодно жертвующей в российскую императорскую Академию наук, и потому я всепокорнейше прошу Вас сделать о сем представление Академии, которая, приняв в соображение достоинство сего сочинения, а равно и просьбу мою, как учредителя премий для награды успехов в отечественной литературе, конечно, не сочтет мое желание и ходатайство неуместным и невозможным к исполнению.

В ожидании на сие ответа я приостановлюсь письмом моим к самому г. Гоголю по сему предмету...»

Читая и перечитывая эти строки, нельзя не почувствовать, что Демидов не вполне был уверен в том, что Академия выполнит его, казалось бы, естественную просьбу. Наверное, именно поэтому он несколько раз напоминает о том, что сам является учредителем премий. Именно поэтому он «приостановился» писать о своем ходатайстве Гоголю.

Да, государь император на премьере «Ревизора» «хлопал и много смеялся», как вспоминает современник:

в первые дни комедия воспринималась, как безобидный и веселый водевиль. Но очень скоро хлопки и смех неслись уже не из царской ложи, а с галерки. Истинное значение «Ревизора» начали понимать все. Кулябко читала в петербургских газетах злобные статьи, направленные против комедии. Отметила, что лишь один голос поддержал тогда Гоголя — голос неведомого А. Б. В. в московской «Молве»... В такой атмосфере просьба Демидова должна была прозвучать неожиданным и резким диссонансом.

И академики, получив письмо учредителя премий, растерянные и смущенные собрались 13 мая 1836 года на заседание.

Надо думать, за тяжелыми дверями конференц-зала шли нелегкие дебаты. Положение создалось «пиковое» и чрезвычайно неловкое: не считаться с просьбой Демидова трудно; а выполнить ее — невозможно. И вот Е. Кулябко обнаруживает протокол с решением общего собрания Академии: «Напомнить г-ну Демидову о пункте 2 статьи IX устава, который решительно противоречит его желанию, и объявить ему, что Академия, к сожалению, безусловно лишена возможности присудить от своего имени какую-либо награду г-ну Гоголю даже и в том случае, если бы его комедия была действительно признана произведением классическим».

Итак, от Демидова решили отгородиться... положением о Демидовских премиях. Это звучало трагикомично, но иного выхода у верноподданных ученых не оказалось. Разумеется, приведенные строки — лишь протокол собрания. Ответ Демидову надлежало составить мягче, лиричнее, в нем была бы неуместна ирония последних слов протокола или выражения вроде «объявить ему». Предстояло как-то затушевать «решительное противоречие желанию» того, кто по доброй воле предложил Академии столь высокое денежное вознаграждение. Следовало смягчить указание на то,

что Академия сама, без консультаций с ним будет решать, кого и за что премировать.

Елена Сергеевна вглядывалась в сохранившийся черновик ответного письма — его составлял неременный секретарь Академии Фус — и видела, как мучительно подбирал тот фразы, с каким трудом склеивал слова, без конца перечеркивал написанное, выкидывал целые абзацы, вписывал новые — и всё для того, чтобы облечь непристойный ответ в пристойные формы. Задача стояла перед неременным секретарем почти неразрешимая.

Но ведь великий русский язык так гибок и многообразен! Им можно выразить неисчислимые оттенки мысли. Из его нетленного материала возведены не только роскошные дворцы поэзии и мощные укрепления науки, но и траншеи, и лабиринты дипломатии. В окончательной редакции ответа Демидову говорилось, что пункт 2 статьи IX исключает к соисканию медалей сочинения драматические, и что «сбыт оных в России, как и везде, так значителен, что прибыль от них, получаемая авторами, далеко превышает установленную награду» (этот неловкий пассаж очевидно означал попытку разговаривать с промышленником на языке экономики). В письме говорилось даже, что образец демидовской медали утвержден самим государем императором и что (это уже между строк) надо думать, кому предлагаешь ее вручить.

Трудно сказать, что испытал Павел Николаевич Демидов, прочитав ответ академиков. Е. Кулябко удалось установить, что он сразу же написал в Академию о своем желании исключить из действующего положения пункт 2 статьи IX, не допуская к соисканию наград драматические сочинения и, очевидно, дал понять, что желая наградить золотой медалью «Ревизора», заботился не о материальном состоянии автора комедии, а о процветании русского искусства. На этот раз ответ



Демидовская медаль (отпечатано в натуральную величину)

ученых звучал еще суше: «Академия одна имеет право предлагать изменения и поправки в подлежащем положении». Это уже звучало оскорбительно.

И вот состоялся шестой Демидовский конкурс, на котором учредитель премий хотел увенчать медалью комедию Гоголя. На этот раз конкурс проводился особенно тщательно и строго. К соискателям предъявлялись жесткие требования. Принцип отбора произведений был избран самый **высокий** — выдвигались сочинения, удостоившиеся внимания и одобрения царя.

Главное место среди соискателей вместо писателя Николая Васильевича Гоголя занял полковник Бобинский, инспектор гвардейской берейторской школы. Рассматривался его ученый труд «Иппология и курс верховой езды». Проблемы коневодства признавались важнейшими в области российского просвещения. Николай I лично назначил арбитров для оценки этого сочинения. И они, представьте себе, оправдали возложенные на них надежды. Не подвели. Полковник Бобинский получил полную Демидовскую премию... так и хочется сказать — премию «Ревизора».

Гоголь, находясь за границей, узнал о переписке Демидова с Академией наук. И в письме, которое наконец-то стало понятным, благодарил за неожиданную поддержку. Новым смыслом наполнились теперь слова писателя: «Это было одним из приятнейших моих воспоминаний, какие только вывез с собою из России».



удьба
библиотеки
Ломоносова

1.

Вот уже почти два столетия изучаем мы жестокий и блестящий восемнадцатый век и связи с ним нашего времени, а он всё хранит и даже будто множит свои тайны, не желает раскрывать их и далеким потомкам.

Его загадочность — и в трагической судьбе великой книги Радищева; и в игре света и тени буйного воображения Екатерины; и в символике «Медного всадника» над Невой; и в улыбках смолянок на полотнах Левицкого; и в глазах Струйской на портрете Рокотова:

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач,
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуйсуг... —

напишет о них наш современник поэт Николай Заболоцкий. Загадочность восемнадцатого века — и в крестьянской серии рисунков гениального графика Ивана Ерменева, товарища детских игр будущего императора Павла, художника, опередившего свое время на несколько десятилетий; и в судьбе самого императора Павла, в том, как сумел он загнать умудренный просвещением век на плац и в казарму; и в том, наконец, что последним поэтическим вздохом, последним своим чудом уходящий век подарил России сына, какого еще не было у нее — Александра Пушкина.

Однажды, даря свою книгу-альбом о раскопках на холме Кармир-Блур древнего государства Урарту, академик Борис Борисович Пиотровский, выдающийся советский археолог, написал на ней: «Всё, что здесь опубликовано, вытащено из земли моими руками, в жару, на ветру, с терпением и без спешки».

С терпением и без спешки разбирала Елена Сергеевна Кулябко курганы рукописей, писем, документов минувших эпох — они сошлись в архиве Академии наук. Удивительная интуиция и чутье старшего научного сотрудника Кулябко уже не раз приводили ее к неожиданным и интересным открытиям, из которых особенно примечательным остается расшифровка непонятного письма Гоголя Демидову.

Здесь, в тишине архива, хранят старые бумаги историю русской научной мысли, расчлененную во множестве рукописных материалов, как солнечный свет — в медных и бронзовых предметах из недр Кармир-Блура. Раскопки здесь, в архиве, сродни труду археолога. Только вместо наконечников стрел, сосудов и украшений — следов древней культуры — обнаруживаются иные следы культуры, не материальные, духовные. Около двухсот лет таят архивные папки трудно различимые ступени познания, по которым всходила к сегодняшним своим вершинам русская наука. И многие из этих ступеней оказываются прорубленными титанической рукой Ломоносова. Трудно охватить воображением масштаб его научных, литературных и художественных трудов, производственных начинаний, педагогических открытий. И возвращаться к его деятельности современные исследователи будут еще не раз.

Елена Сергеевна прослеживала концентрические круги, некие волны, расходившиеся вокруг многих

важных свершений Ломоносова. Что остается после человека? Что оставляет людям ученый?.. Узнав о смерти Ломоносова, будущий император Павел убежденно сказал: только казну разорял, а ничего не сделал. Созданная ученым Академия наук тоже поначалу делала вид, что потеря невелика: не преуменьшив заслуг титана, разве может на что-то рассчитывать его коллега-пигмей? До гиганта, стоящего в рост, — не дотянуться. А погребенный гигант — в конце концов ступенька для низкорослых.

Но физическая смерть Ломоносова не помогла его врагам и недоброжелателям отодвинуть его в небытие, прекратить жизнь рожденных им идей. Е. Кулябко нашла документы, хранившие, в частности, отпечатки судебных наиболее талантливых учеников и последователей Ломоносова. И открыла для нас плеяду блестящих русских академиков восемнадцатого столетия, едва ли не каждый из которых обязан Ломоносову профессией, умением трудиться в науке, а иногда и всей своей жизнью.

Вот они, эти имена. Иван Лопахин, историк, зоограф, этнограф, ботаник — без его четырехтомного труда «Дневные записки путешествия... по разным провинциям Российского государства» историко-познавательная летопись нашей родины была бы неполной. Михаил Софронов, математик, предвосхитивший некоторые открытия европейских ученых. Степан Румовский — астроном, историк и теоретик оптики, исследователь Венеры. Юрист Алексей Поленов. Анатом Алексей Протасов... Тридцать восемь биографий ярких, но малоизвестных учеников Ломоносова — физиков, химиков, геологов, историков, поэтов, переводчиков, — тридцать восемь жизней в науке, подчас несчастливых, драматических, воссоздала Е. Кулябко на страницах своей книги «Замечательные питомцы академического университета».

Однако мир ученого — это не только его ученики и единомышленники. Это и его собеседники — книги. Следы размышлений, пометы на полях ломоносовских книг могли бы чрезвычайно расширить наши знания и представления о научной и литературной деятельности ученого. Но книги его личной библиотеки отсутствовали. Их не раз принимались искать — и каждый раз безуспешно. В исследовании «Библиотека Ломоносова», вышедшем к 250-летию со дня рождения ученого, а было это совсем недавно, в 1961 году, Г. М. Коровин сообщал: «Местонахождение личной библиотеки Ломоносова в точности неизвестно; можно полагать, что основная часть ее находилась в доме Ломоносова на Мойке... Во всяком случае, ни полностью, ни частично (за исключением единичных экземпляров) она до нас не дошла, и никаких достоверных сведений о ее судьбе и полном составе нет».

3.

Топография движения книги, тем более старой, по городам и странам, общественным и частным собраниям, книжным лавкам и саквояжам перекупщиков подобна следу броуновской частицы в жидкости или газе. Трудно проследить, зафиксировать, понять эту бессистемно изломанную кривую. Аналогия не касается лишь скорости движения: книга нередко подолгу оседает на одном месте. Е. Кулябко решила отправиться в странствие по следам ломоносовской библиотеки. Она задумала не поиск утраченного имущества, а розыски целого духовного мира гениального человека. Ей не верилось, что книги сгорели, утонули, сгинули. Теплилась вера, что, пусть в измененном составе, они где-то стоят, ждут своего часа и когда-нибудь заговорят, чтобы поведать людям о мыслях своего владельца. Оживут маргиналии — многочисленные значки и пометы: Ломоносов в изобилии оставлял их на полях про-

читанных сочинений. Поиски этой библиотеки окупили бы любые затраты времени и сил.

Началом ломоносовской библиотеки можно считать две книги, добытые будущим ученым еще на Курострове и выученные чуть ли не наизусть. О, если бы мы знали историю каждой его книги так, как знаем происхождение этих!

Как-то, зайдя к соседям, Дудиным, юный Михайло Ломоносов впервые в жизни увидел недуховные книги. Те, привычные, духовного содержания, он читал и переписывал в Куростровской Дмитриевской церкви. А такие видел в первый раз. Старик Дудин не хотел делиться с подростком своей собственностью. Михайло не отставал: всячески угождал сыновьям старика, выполнял любые их просьбы и поручения и дождался-таки своего часа. После смерти старика сыновья отдали обе книги настойчивому соседу, заложив два первых кирпича его будущего собрания.

Одна из них — «Арифметика, сиречь наука числительная. С разных диалектов на славенский язык преведенная и во едино собрана и на две книги разделена. Ныне же... в богоспасаемом царствующем граде Москве типографским тиснением ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена, первое, в лето от сотворения мира 7201, от рождества же по плоти бога слова 1703, индикта 11, месяца ианнуария. Сочинися сия книга чрез труды Леонтия Магницкого».

Другая была совсем новой, недавно, в 1721 году вышедшей из печати, — «Грамматика» М. Смотрицкого.

И ту и другую Михайло Ломоносов взял с собой, когда отправился из Курострова в Москву. Странствия ломоносовской библиотеки начались в заплечном дорожном мешке.

В Москве, на первую стипендию, Ломоносов купил еще и сочинение В. К. Тредиаковского «Новый и крат-

кий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих знаний. Спб., 1735».

А потом их становилось все больше. Известен «марбургский» список литературы, приобретенной Ломоносовым за границей в студенческие годы. Там значатся труды по физике, химии, медицине, философии, риторике, современной и античной литературе. Часть этих изданий вернулась позднее в Россию.

В Петербурге ученый всё чаще заходил в книжную лавку Академии наук в поисках новинок. Материальное положение не позволяло делать неограниченные покупки. Поэтому иногда Ломоносов брал вместо положенного ему жалованья книги. Только после производства в профессору у него появилась возможность более или менее свободно приобретать нужные издания.

Мы не знаем, что содержали письменный стол и книжные полки Ломоносова, когда хозяин их умер. Но известно, что на следующий же день после смерти ученого в его дом на Мойке приехал граф Г. Г. Орлов и с высочайшего соизволения императрицы Екатерины опечатал двери кабинета. С этого момента, с замка и печати на дверях, начинается наше неведение о судьбе ломоносовской библиотеки.

Правда, некоторые экземпляры этого собрания время от времени всплывали на поверхность истории. Специалисты придирчиво и внимательно интересовались происхождением и путями таких книг — ведь они могли привести к значительным частям бывшей библиотеки ученого. Поэтому пришлось всесторонне заняться изданием, из-за которого в свое время... чуть не подрались два почтенных академика.

Предметом их раздора оказалась «Риторика» Н. Коссена. На форзаце книги видна зачеркнутая владельческая надпись. Разобрать ее трудно. Ниже зачеркнутого стоит: «было писано Михайло Ломоносов собственною его рукою». А на обороте — пояснение: «Книга

эта приобретена в 1789 году из библиотеки Ломоносова С. Сцепинским. Товарищ Сцепинского по Академии, будущий граф Сперанский, просил его эту книгу уступить ему. Сцепинский не согласился, и Сперанский вдруг схватил перо и замарал подпись Ломоносова, чтобы она не служила поводом к неудовольствию добрых товарищей-академиков, которые назывались тогда друзьями».

«Добрые друзья-академики», заменив рукопашную странным для ученых принципом «так не доставайся ты никому», задали потомкам задачу. Следовало всё же прочесть зачеркнутую надпись. Уже в наше время книгу подвергли исследованию в лаборатории консервации и реставрации документов Академии наук СССР. И вот — неожиданность: на форзаце стояло вовсе не «Михайло Ломоносов», а нечто совсем иное — «N. Sigmund, Marburg, 1738». Из-за чего же ссорились друзья-академики? И что это за пояснительная надпись на обороте форзаца? Мистификация? Шутка? Исторический анекдот? Не похоже. Тем более, что в письме к Д. И. Виноградову во Фрейберг Ломоносов просил прислать ему... именно эту самую «Риторику» Коссена!

Ученые предполагают сегодня, что книга всё же принадлежала Ломоносову. Очевидно, он купил ее во время учения в Марбурге у студента Зигмунда, который и оставил владельческую надпись. После смерти ученого книга могла попасть к кому-то из его потомков, а потом и стать яблоком раздора. И поиски вокруг нее не вели никуда. Судьба библиотеки по-прежнему не прояснялась.

Когда в 1865 году широко отмечалось столетие со дня смерти великого ученого, академик Я. К. Грот в речи на юбилейном заседании Академии сказал:

— ...По смерти его осталось довольно большое число неизданных сочинений... значительная часть не дошла до нас, неизвестно даже, куда девались рукописи.

Где остались его Оратория и Поэзия, две книги, составлявшие продолжение его Риторики? Где его «мысли, простиравшиеся к приращению общей пользы», изложенные в записках, из которых только одна — «О размножении и сохранении российского народа» — нам известна?..

Судьба ломоносовских книг оставалась такой же таинственной, как и судьба рукописей. В архиве ученого нашли лишь несколько счетов из книжной лавки Академии наук, выписанные в шестидесятых годах на общую сумму 198 рублей 37 копеек, да счет переплетчика Ф. Розенберга, переплетавшего книги для личной библиотеки Ломоносова.

Правда, в разное время обнаружили три книги ученого. Кроме помет своего первого великого владельца, все три сохранили и пометы его потомков — Раевских и Ностицов (внуков и правнуков ученого). Полагая, что вся библиотека осела у потомков, стали искать ее в имении Усть-Рудица, где Ломоносов построил свою знаменитую фабрику по производству стекла и смальт, а также в архивах Раевских, Ностицов, Волконских. Но больше не нашли ничего.

4.

И вот сравнительно недавно в Центральном государственном архиве древних актов обнаруживается примечательное письмо, посланное математиком В.Е. Ададуровым историографу Г.Ф. Миллеру 20 ноября 1768 года, то есть через три года после смерти Ломоносова: «...Я виделся с графом Володимером Григорьевичем, но как от него уведомился, что той Татищевой истории в письмах Ломоносова не находится, а всю его библиотеку изволил купить граф Григорий Григорьевич...»

Владимир Григорьевич и Григорий Григорьевич — братья, графы Орловы.

Прочитав впервые это письмо, Елена Сергеевна что называется ахнула. Значит, Новиков прав! В его свидетельство не верили целых двести лет. А теперь оно подтверждается!

Николай Иванович Новиков, выдающийся русский просветитель, издал в 1772 году «Опыт исторического словаря о российских писателях». В то время, когда вышла эта первая русская литературная энциклопедия, были живы и граф Орлов, и единственная дочь Ломоносова Елена Михайловна. Так вот, у Новикова ясно сказано: «библиотека и манускрипты Ломоносова куплены графом Орловым». Почему же на это свидетельство всерьез не обратили внимания?

Дело в том, что автор реконструкции ломоносовской библиотеки Г. М. Коровин, как и другие исследователи, ничего не знал о существовании библиотеки Г. Г. Орлова, о ее взаимосвязи с книгами искомого собрания. А несколько найденных книг с пометами Ломоносова, как уже знает читатель, неизменно происходили от потомков ученого. Дальнейшие поиски в их архивах ни к чему не привели. Потому-то Коровин и написал, что местонахождение библиотеки Ломоносова неизвестно.

Теперь возникло вполне достоверное свидетельство: библиотека Ломоносова перешла во владение фаворита Екатерины графа Григория Орлова. Возможно, он купил ее еще при жизни ученого, когда тот тяжело болел и снова, как и в начале жизни, остро нуждался в деньгах. Может быть, Орлов печатывал кабинет в доме на Мойке, оберегая от посторонних уже принадлежавшие ему книги и рукописи?

Покупка Орловым наиболее ценного по тому времени книжного собрания в Петербурге могла быть связана с возникшей тогда среди вельмож модой на создание личных библиотек в оптовом порядке. Тон задала сама Екатерина: купила библиотеки Дидро и крупнейшего библиофила И. Корфа. Орлов последовал ее примеру.

Ломоносовская библиотека перевозилась недалеко — в другое здание на той же реке Мойке, в особняк Орлова, выстроенный Растрелли и именовавшийся Штегельмановским домом (по имени прежнего владельца банкира Штегельмана).

Однако под конец жизни Орлов лишился рассудка, жил под опекой брата сначала за границей, потом, перед самой смертью, в Москве и библиотекой, конечно, не занимался. Потому он и не оставил никаких свидетельств о своей драгоценной книжной коллекции.

И всё-таки начать вести разыскания следовало с материалов о графе Орлове и его Штегельмановском доме. Оказывается, на жилой половине особняка места для книг не нашлось, и их сгрузили в строившуюся кладовую. Когда через год после смерти Ломоносова студент Илья Аврамов попросил показать ему для занятий ломоносовскую рукопись пояснений к зарисовкам северного сияния, ему ответили, что «де у них в кладовой книги и манускрипты хотя и находятся, однако за строением и завалением оной упомнить не можно». Правда, было у Орлова еще и поместье в Гатчине. Но там, когда приезжала Екатерина, они не разыгрывали друг с другом Паоло и Франческу и совместным чтением не занимались — хозяин устраивал пышные фейерверки.

Тем не менее возможность, что Орлов держал в Гатчинском дворце какие-то книги, не исключалась. Это неясное звено биографии орловской библиотеки облеклось в легенду. Она приведена в записках Н. Н. Греча. Мемуарист утверждает, что однажды во время пребывания двора в Гатчине генерал-прокурор П. Х. Оболянинов, воротясь от императора с докладом, объявил Безаку, что «государь скучает за невозможностью маневрировать в дурную осеннюю погоду и желал бы иметь какое-либо занятие по делам гражданским. „Чтоб было завтра!“ — прибавил Оболянинов строгим голосом». Безак, не зная, что делать, пришел в канцелярию и поделился своим

горем со Сперанским. Тот взялся помочь беде. «Нет ли здесь какой-нибудь библиотеки?» — спросил он у придворного служителя. «Есть, сударь, какая-то куча книг на чердаке, оставшихся после светлейшего князя Григория Григорьевича Орлова». «Веди меня туда», — сказал Сперанский, отыскал на чердаке старые французские книги и за сутки написал набело Коммерческий устав Российской империи.

Легенда бывает правдивее факта — утверждал Честертон. Чтобы отрезать ломоносовским книгам все пути к «отступлению», Е. Кулябко обратилась к каталогам библиотеки Гатчинского дворца (они хранятся сейчас в рукописном отделе библиотеки Эрмитажа). Увы: ломоносовских книг здесь не оказалось.

Маршруты поисков не обошли и замок Лоде в Эстонии, где в начале семидесятых годов переживал свою отставку Орлов. Позднее замок перешел к его потомкам. Но и здесь время сохранило лишь купчую Орлова на владение замком.

В 1772 году Екатерина подарила Орлову Мраморный дворец — прекрасное творение архитектора Антонио Ринальди. «Когда строящийся под смотрением вашим у почтовой пристани каменный дом к окончанию приведет так, как от нас вам приказано, — указывала императрица Мордвинову, — тогда отдайте от нас ключи графу Григорию Григорьевичу Орлову...»

Граф Григорий Григорьевич не получил ключей от нового дворца. Отделка здания затянулась, и первый его владелец умер, так и не пожив в роскошных апартаментах на берегу Невы. Тем не менее, большая часть его имущества была сюда перевезена.

После смерти Орлова дворец перешел в казну, иными словами, снова во владение Екатерины. Статс-секретарь императрицы П. И. Турчанинов решил выяснить, что за имущество находится во дворце, и есть ли ему опись. Бывший адъютант Орлова Ф. Ф. Буксгевен отвечал на его

запрос: «За честь себе ставлю уведомить вас, что все картины и библиотека с дома Штегельманского перенесены в Мраморный дом... Всему оному имеется у артиллерии полковника Раля каталог».

Итак, новый адрес библиотеки Ломоносова, вошедшей значительной частью в библиотеку Орлова, — Мраморный дворец. Вскоре управляющий Фридрих фон Раль доносил Кабинету: «Для библиотеки нужен библиотекарь, знающий по-французски и по-немецки».

В 1795 году дворец был подарен великому князю Константину Павловичу. Этот владелец жил здесь также довольно мало. А книги нашли себе приют на верхнем этаже дворца, в помещении канцелярии. В качестве библиотекаря для приведения их в порядок был приглашен некто Ф. Шредер.

Случилось так, что долги библиотекаря Шредера росли. Он пытался покрыть их разными способами: взял на себя заведывание еще одной библиотекой — в Первом кадетском корпусе, сотрудничал с реакционным журналистом и издателем Гречем, даже писал водевили. А денег всё не хватало. И тогда надворный советник Шредер задумчиво раскрыл вверенные его попечению книжные шкафы. Достал несколько изданий с владельческими автографами на форзацах и титульных листах, полистал, с удовлетворением обнаружил на некоторых страницах пометы, сделанные крупным быстрым почерком. Потом тщательно завернул книги, накиннул на плечи крылатку и поспешно вышел. Спустился по одной из многочисленных лестниц во внутренний двор, а оттуда — в переулок, соединявший Миллионную улицу с набережной Невы.

Прошло несколько лет, а каталогизация книжного собрания великого князя Константина Павловича не очень продвинулась вперед. Когда в 1824 году Шредер умер и начались дела, связанные с его наследством,

его вдова и зять, явно чем-то испуганные, поспешно отказались от каких-либо притязаний. Сменивший Шредера новый библиотекарь — Николай Шмит нашел сокровища в упадке и разорении. Незаконченный каталог — 117 шредеровских тетрадей — совершенно не соответствовал наличию.

Обо всем этом, очевидно, стало известно. Теперь к судьбе и сохранности уникальной библиотеки решили отнестись с чрезвычайной строгостью. Титулярному советнику и кавалеру Шмиту вручили ордер с грозными пунктами:

«1. Каждодневно по утрам из придворной государя цесаревича канцелярии секретарь выдает вам ключ от первых дверей, которые, а равно и вторые двери, от коих ключ храниться будет у вас, вы отворить имеете при нем.

2. По окончании занятий ваших имеете вы уведомить о том секретаря чрез состоящего при библиотеке лакея Воронова; секретарь же должен затворить потом дверь и представить ко мне в канцелярию ключ.

3. Во время занятий, а особливо в задних комнатах, должна быть вторая дверь изнутри заперта, дабы никто из посторонних не мог неприметно войти в библиотеку...»

Увы, придворное начальство спохватилось поздно. Шмит установил, что Шредер не внес в каталог... более тысячи томов. Очевидно, долги надворного советника были значительны.

И тут на сцене появляется еще одно действующее лицо, которому история, судьба и случай предоставили сыграть важную роль в описываемых событиях, — библиотекарь Николая I Седжер. Министр императорского двора П. М. Волконский передал ему повеление царя: осмотреть библиотеку Мраморного дворца и сообщить свое мнение о целесообразности ее приобретения для личного пользования государя императора.

Седжер сообщил министру свои предложения. Императорский библиотекарь отобрал лишь небольшое коли-

чество изданий, достойных, по его мнению, занять место в книжных шкафах Зимнего дворца. Основную же часть собрания предложил передать какому-либо университету.

Владельцем бывшей орловской библиотеки в то время был незаконнорожденный сын великого князя Константина Павловича П. К. Александров. Он послушался совета Седжера: труды юридического содержания пожертвовал Дерптскому университету (ныне Тартускому), а прочее, в том числе исторические книги и рукописи, подарил Александровскому университету в Гельсингфорсе.

На север, в Гельсингфорс, с книжным обозом отправился Н. Шмит. Позднее он писал в своем отчете: «...Библиотека же Мраморного дворца сдана Александровскому университету вместе с составленным мною оной каталогом».

Казалось бы, ясно, где следует искать ломоносовскую библиотеку. Но стоило Е. Кулябко внимательно дочитать отчет Шмита, писанный в Петербурге 4 мая 1833 года, познакомиться с некоторыми другими рукописными материалами, как радость догадки меркла. Оказывается, в Гельсингфорс были подарены далеко не все книги библиотеки Мраморного дворца. Собрание подверглось расчленению на пять частей. Кроме Гельсингфорсского и Дерптского университетов книги попали в частные собрания самого П. К. Александра, гофмейстера Д. Д. Куруты, а также, как помнит читатель, в библиотеку Зимнего дворца.

5.

Интуиция подсказывала Е. Кулябко, что главное внимание следует все-таки уделить исследованию книжных фондов Хельсинкского университета. Специальная литература о них не проливала свет на интересующий исследователя вопрос. Даже Арне Иергенсен, автор серьезной

монографии «Университетская Библиотека в Гельсингфорсе» (1930), посвятивший в ней целую главу истории передачи в университет библиотеки Мраморного дворца, в том числе и орловского собрания, ничего не сообщает о наличии в нем книг Ломоносова. Обзор русских книг Гельсингфорсского университета сделал и Б. Сильверсман (1932). Но и он, рассказывая о поступлении в Финляндию книжного собрания из Мраморного дворца, не упоминает книг Ломоносова.

Е. Кулябко решила все-таки попытаться найти ответ на вопрос, не поддававшийся усилиям русских и советских исследователей почти полтора столетия. Она обратилась к директору библиотеки Хельсинкского университета профессору И. Валлинкоски с просьбой сделать и прислать микрофильм каталога Шмита. Профессор И. Валлинкоски любезно откликнулся на просьбу, и микрофильм каталога поступил в Ленинград.

Внимательное изучение отснятого на пленку каталога Шмита показало, что в Хельсинки, несомненно, должны находиться книги, принадлежавшие когда-то Ломоносову. Надо было убедиться в верности догадки. Проверить ее попросили сотрудницу архива Ю. П. Тимохину, ехавшую в Хельсинки.

Книги, поступившие в свое время из Петербурга в старинное здание на Унионкату, где размещается библиотека Хельсинкского университета, были, оказывается, расформированы по многим отделам хранилища. «При этом в „Орловском каталоге“ не делалось отметок, в какой отдел попала книга и какой она получила шифр, — пишет Ю. Тимохина. — Но все сочинения должны были быть зарегистрированы в центральном каталоге. Следовательно, мне предстояло вести поиски в двух планах: выявлять издания „Орловского каталога“, а затем искать среди них книги с пометами, которые могли быть сделаны Ломоносовым». Образцы почерка ученого послала из Ленинграда Е. Кулябко.

В этой работе Ю. Тимохиной оказали важную помощь финские коллеги Бенита Прушевски и Елизавета Токой.

Шла неделя, другая, книги из двухмиллионного фонда библиотеки одна за другой ложились на стол, но ни единой пометы в них не обнаруживалось. Новые заказы шли в фонды, новые издания по многим отраслям наук появлялись на столе. И вот — первая находка. В небольшой книжечке Альбаро Барбы «Металлы и минералы» — подчеркивания в тексте, отчеркивания на полях, латинские буквы; на странице 65 — химические значки и слова: «мало в земли, много — много».

А вот и другая книга — «История Российская» Татищева. На полях в одном месте стоит: «не правда это», в другом — «всё врет дурак».

Каждое новое просмотренное издание подтверждало догадки и интуицию Е. Кулябко, назвавшей по микрофильму орловского каталога 134 книги, которые следует просмотреть в первую очередь. Ксерокопии обнаруженных на страницах помет отправляются в Ленинград Елене Сергеевне, хорошо знающей почерк ученого. Принадлежность помет Ломоносову становится очевидной. Книги великого ученого одна за другой возвращаются из далека времени и становятся, наконец-то, достоянием потомков.

Многие пометы открыли такие области интересов Ломоносова, о которых ранее ничего не было известно. К их числу можно отнести запись на учебнике алгебры выдающегося французского математика Алексиса Клода Клеро. Запись эта обнаруживает интерес русского ученого к методу преподавания правил математики на примере конкретных задач. Интересны пометы и на конспекте теоретической и практической химии Иоганна Юнкера. В книге, кроме прочего, идет речь об эликсире жизни и способах достижения долголетия — мечте древних алхимиков. Юнкер пишет: «Говорят, что Алтефиус благодаря своей тинктуре достиг 1000 лет». В этом месте на полях —

пустил часть изданий по ветру, так и не составив себе богатства, но нанеся заметный ущерб национальной культуре. Николай Шмит, добросовестно составив каталог и доставив его вместе с книгами в Гельсингфорс, помог тем самым через много лет отыскать драгоценные реликвии.

Найденные в Хельсинкской библиотеке книги Ломоносова финская сторона любезно передала в дар Академии наук СССР. Советский Союз в качестве ответного дара передал финским коллегам более 700 изданий советской научной литературы; они займут свое место в фондах славянского отдела университетской библиотеки в Хельсинки.

Но куда же делись другие книги орловской библиотеки, те ее комплексы, которые не были отправлены в Гельсингфорс? Увы, ответ на этот вопрос оказался неожиданным.

— Вечерний выпуск «Красной газеты»! Вечерний выпуск! Ценнейшие книги — на обертки! Покупайте!.. — выкрикивали продавцы газет 12 мая 1926 года. Ленинградцы с изумлением раскрывали газету. Действительно — броский аншлаг: «Ценные книги — на обертки. 800 пудов литературы на рынке». Далее следовало подробное сообщение:

«На Александровский рынок неизвестно каким путем попала ценнейшая русская и иностранная литература, по мнению академика С.Ф. Платонова, принадлежащая бывш. вел. кн. Константину Павловичу. Даже по неточному определению, этой литературы на рынке имеется 800 пудов. Академия наук случайно натолкнулась там на книгу — учебник XVIII столетия, принадлежащую перу учителя Петра I — токаря Андрея Нартова. Книги в прекрасных переплетах, стоящие каждая не менее 3—5 руб., распродают по 50—60 коп. и идут на обертки. Как книги попали на рынок, и чьих рук это дело — совершенно неизвестно».

SERIES EXCELLENTIVM
D' V R O R V M

I.	Miltiades.	Милтиадъ.
II.	Themistocles.	Θεμιστοκλῆς.
III.	Aristides.	Αριστινῆς.
IV.	Pausanias.	Παυσανίας.
V.	Cimon.	Κίμων.
VI.	Lysander.	Λύσανδρος.
VII.	Alcibiades.	Αλκιβιάδης.
VIII.	Thraſybulus.	Θρασυβούλος.
IX.	Conon.	Κόνων.
X.	Dion.	Δίων.
XI.	Iphiciates.	Ιφικράτης.
XII.	Chabrias.	Χαβρίας.
XIII.	Timotheus. π	Τιμοθέου.
XIV.	Datames.	Δατάμης.
XV.	Epaminondas.	Επαμεινώνδας.
XVI.	Pelopidas.	Πελοπίδας.
XVII.	Agésilauſ.	Αγέσιλαος.
XVIII.	Eumenes.	Ευμένης.

Pho.

Записъ М. В. Ломоносова на книге Корнелія Непота
«Житія славныхъ генералов».

XIX.	Phocio.	Фотіонъ
XX.	Timoleon.	Тимолеонъ
XXI.	Reges.	Короли
XXII.	Hamilcar.	Амилкаръ
XXIII.	Hannibal.	Аннибалъ
XXIV.	Cato.	Катонъ
XXV.	Atticus.	Аттикусъ



Nepos, Curtius, Florus, Euseb. Plinius,
 Plin. iun. paneg. Veng. Hor. Ov. Sen.
 Avian. Caes. Woss. Eras. Barcl.

Запись М. В. Ломоносова на книге Корнелия Непота
 «Жития славных генералов».

Plomb en poudre subtile, & passée par le tamis; mêler très-bien le tout ensemble, les mettre dans un bon creuset, dans lequel il y ait du vuide un bon travers de doigt, crainte que la Matière ne s'épanche en cuisant, qu'elle ne s'attache au couvercle quand elle s'enfle, & qu'elle ne rende l'Ouvrage difforme. Faites ensuite comme nous l'avons enseigné au Chapitre XCIV. observant bien toutes les mêmes circonstances du feu & du tems, & vous aurez une couleur de Topase admirable, propre à faire ce que vous voudrez.

CHAPITRE C.

Autre couleur de Topase très-belle.

Prain
V Oici une autre maniere de faire une très-belle couleur de Topase. Vous prendrez deux onces de Cristal de Roche préparé ainsi que nous l'avons dit, deux onces de Cinabre naturel ou Mineral, & deux onces d'Es. Ustum, le tout en Poudre subtile; à laquelle vous ajouterez le quadruple d'Etain calciné aussi en Poudre, & mettrez le tout dans un creuset avec son couvercle bien lutté, au Four-

Реплика М. В. Ломоносова («враки») о способе изменения окраски топазов на книге Годикера де Бланкура «Искусство стеклоделия»

Книжников, букинистов, библиофилов охватила тревога. Из Москвы в Ленинград срочно приехал П. П. Шибанов — заведующий антикварным магазином «Международная книга». Редкостные издания в изысканных кожаных и сафьяновых переплетах передавались из рук в руки.

И тогда выяснилось вот что. Последней наследницей и владелицей книг из библиотеки П. К. Александрова оказалась его правнучка А. А. Львова (по мужу — Яцко). В 1925 году она обратилась в две крупнейшие библиотеки Ленинграда — Библиотеку Академии наук СССР и Публичную библиотеку — с предложением приобрести принадлежащие ей книги, объяснив, что они восходят к собранию великого князя Константина Павловича. Но в этих библиотеках уже имелись многие из предложенных книг. Покупка не состоялась. Тогда осмотром книг занялись видные ленинградские и московские книжники — антиквары и букинисты. Они восхищались прекрасными изданиями. Библиофил П. Н. Мартынов записал свой тогдашний разговор с П. П. Шибановым:

— Павел Петрович, книги-то неплохие, много есть марокенов с суперэкслибрисами, надо бы их купить, часть отправить в Москву, а часть оставить в Ленинграде.

— Да, Петя, у тебя нюх есть, книги-то неплохие, но у нас кишка слаба, давай-ка укладывать их обратно в ящики...

Тогда-то книги и попали на рынок.

А через несколько дней они с Александровского рынка исчезли. Очевидно, их быстро раскупили по сходной цене. Случайные покупатели, оказавшиеся в те майские дни на рынках и книжных развалах Ленинграда, во всяком случае, те из них, кто не разорвал добротного переплетенные фолианты на обертку, могли стать обладателями ценнейших экземпляров ломоносовского книжного собрания.

Где они сейчас?

Пополняют вереницу больших и маленьких загадок жестокого и блестящего восемнадцатого столетия.

* * *

— Вы, однако, почти ничего не рассказали об архиве Ломоносова! — сказала Елена Сергеевна Кулябко. — А ведь судьба его не менее загадочна, многие рукописи исчезли и до сих пор не обнаружены. В известных отчетах о проведенных им работах Ломоносов сообщает, например, что в течение долгих лет собирал русские пословицы, чтобы иллюстрировать ими свои труды «Грамматика» и «Риторика». Где эта ценнейшая коллекция?.. Из тех же отчетов известно, что Ломоносов зарисовывал северное сияние, изучал его и писал о нем. Этих статей также нет. Можно определенно сказать, что многие рукописи ученого еще не найдены и ждут где-то своего часа.

К этому можно прибавить, что труды Ломоносова, выявленные после выхода в свет последнего, X тома академического издания его сочинений (1957), составили новый, XI том. Он уже находится в печати.



НОНИМНОЕ
ПИСЬМО

1.

Какой, однако, надо обладать вспыльчивостью, чтобы эту черту твоего характера отразила даже энциклопедия Брокгауза и Ефрона!

Николай Петрович был, несомненно, прекрасным, благородным человеком, пользовался всеобщим уважением, слыл мерилом честности и безупречной нравственности, но дикую вспыльчивость свою обуздывать не умел, и его прозвали «немирным». Однажды, рассердившись на чиновника, упорно писавшего в слове «лъс» вместо «яти» букву «е», опрокинул ему на лысину чернильницу; потом присыпал ее песком. В другой раз, усевшись в зубоврачебное кресло, вынул револьвер и взвел курок; зубной врач от страха выдернул пациенту здоровый зуб и тут же пустился наутек.

Генерал-майор Николай Петрович Колюбакин, занимавший до того несколько высоких военно-административных должностей на Кавказе, получил назначение на пост военного губернатора в Эривань. На обширной голой площади посреди города стояло одноэтажное строение, напоминавшее казарму — здесь и находилась резиденция губернского начальника. Тут же стояло несколько казенных домов. Все остальное спряталось за глиняные стены; из глухих дворигов виднелись лишь верхушки фруктовых деревьев.

Колюбакин любил цветы и устроил в доме оранжерею, где среди цветов и лимонных деревьев стояла широкая тахта. Лежа на ней можно было вечерами любоваться снежными вершинами Арапата, освещенными солнцем.

Именно за этим занятием и застал генерала казак с пограничного поста Алишар. Казаки уже второй день наблюдали за кочевниками-курдами из племени Джалали, разбившими лагерь у подножия большой скалы неподалеку от границы. Теперь удалось разведать, что курды нашли замурованный в скале клад и грабят его.

Генерал побагровел. Кулаки его сжались. Бесцеремонный грабеж требовал немедленных действий. Колюбакин приказал отобрать у курдов награбленное и доставить клад в Эривань.

Казаки поскакали в сторону персидской границы.

2.

Страсти бушевали. Аудитория волновалась. Мне предоставили слово сразу после перерыва. С бьющимся сердцем подошел я к судейскому столу.

— Мы встретились в Пятигорске у колодца. Там уже сидели на лавке, подобрав костыли, несколько раненых офицеров. Две-три дамы гуляли по площадке. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус... И тут я увидел Печорина. Окликнул его. Мы обнялись. Познакомился я с ним в действующем отряде. Я был ранен пулей в ногу и приехал на воды с неделю прежде его. Трусом меня не считают. Однако Печорин сказал обо мне: «Это что-то нерусская храбрость!..» Я сразу почувствовал, что относится он ко мне не то, чтобы презрительно, но высокомерно. Печорин иронически поглядывал на мою солдатскую шинель и вообще каждым словом подчеркивал свое превосходство, хотя я не давал ему на то ни основания, ни права. Но особенно стал он бесить меня, когда узнал о моей симпатии к княжне Мери...

Так начал я свою речь.

В середине тридцатых годов нашего века в ленинградских школах второй ступени на уроках литературы практиковались литературные суды. Считалось, что готовясь защищать или осуждать литературного героя, придирчиво исследуя их поступки и их мотивы, мы глубже и более увлеченно знакомимся с биографиями и судьбами героев романа. В суде над Печориным мне досталась роль Грушницкого. Перевоплощался я в своего героя с азартом и всячески искал способы оправдать его.

Не знал я тогда главной возможности сделать это, а заодно и проявить убийственную эрудицию. Не знал, что во «взрослом» литературоведении прототипом Грушницкого, еще со времен Лермонтова, считается генерал Николай Петрович Колюбакин. А познакомившись с жизнью этого человека, понял бы, что Лермонтов не испытывал больших симпатий к прототипу своего героя, и потому не пощадил его.

Человек высокого роста, с широкими плечами, с головой гордо откинутой назад, Колюбакин олицетворял своим внешним обликом силу и могущество. Его маленькие живые глаза выражали недюжинный ум. Он был блестяще образован, начитан, великолепно знал французский язык. Несомненная одаренность сказывалась в любом его начинании, а военная профессия — в его привычках. Громкий голос, резкие манеры и порой слишком откровенный юмор некоторых задевали, шокировали. Но никто никогда не отказывал Колюбакину в благородстве и честности. «Воюю с взяточниками, истребляю их как зайцев», — заявлял он в одном из писем. «Генеральские эполеты могли подавить мне плечи, но не душу, — укорял он старого ратного товарища за обращение „ваше превосходительство“. — Итак, старый товарищ, если ты, в чем не сомневаюсь, хороший человек, если ты не притесняешь крестьян, не обижаешь сирот, то давай по-старому...»

Когда по воспоминаниям жены и биографов Колюбакина я познакомился с его жизнью и личностью, он в какой-то мере напомнил мне фигуру Вережагина — одну из последних ролей в кино большого советского артиста Павла Луспекаева («Белое солнце пустыни») — та же внутренняя и внешняя масштабность, тот же темперамент, та же сила. Природа изредка создает похожие лица. А характеры — куда чаще...

Николай Колюбакин дважды оказывался солдатом — в начале службы и позднее, в 1835 году, когда его вспыльчивый нрав не стерпел лжи, и он, уже геройский офицер, дал пощечину своему командиру. Шесть раз был ранен, из них пять ран получил на Кавказе, где прослужил двадцать восемь лет. Две раны нанесены были холодным оружием, четыре — огнестрельным. Без конца дрался в молодости на дуэлях — сам потом не мог вспомнить, с кем, когда и из-за чего. Честность всегда оставалась его знаменем. Наверное поэтому грузинский князь Дадишкилиани, представ перед полевым судом за убийство, просил пригласить в качестве его адвоката... генерала Колюбакина. Получив ответ, что генерал занят и приехать на суд не сможет, сказал: «Тогда выбирайте, кого хотите. Я выбрал Колюбакина, потому что он человек с душой».

Какие же у литературоведов нашлись основания, чтобы считать Колюбакина прототипом Грушницкого?

Основания эти носят несколько формальный характер. Во-первых, Колюбакин, как и Грушницкий, был ранен в ногу и лечился на кавказских минеральных водах; встречался там с Лермонтовым, но они не сошлись нравом и повздорили. Второе — вспыльчивый характер, склонность к дуэлям. И третье — намек, обнаруженный в словах «это что-то не русская храбрость» — его связали с польским происхождением Колюбакина по линии матери.

Из мемуаров, писем, высказываний великих мастеров мы знаем, что художественный образ, литературный портрет вымышленного героя складывается зачастую из не-



Николай Петрович Колубакинъ.

скольких прототипов, их отдельных черт и признаков. Нередко ко всему этому прибавляется и собственное авторское воображение, домысел, вымысел. Поэтому видеть в Грушницком точный портрет Колюбакина так же трудно, как абсолютно отождествлять Анну Каренину с Марией Александровной Гартунг, Наташу Ростову — с Татьяной Кузминской; или чеховскую Попрыгунью — с художницей Кувшинниковой.

Тем не менее, Колюбакин так и остался в истории, прежде всего, как литературный прототип Грушницкого. А невыдуманные события того вечера в Эривани, когда казак поднял генерала с тахты своим неожиданным сообщением, стали проясняться совсем недавно.

3.

Учителя Оренбургской гимназии недогнущими руками подписали ведомость об успехах и поведении ученика первого класса Пиотровского Бориса и перевели его во второй класс. Эта ведомость шестидесятилетней давности сохранила, однако, маленькую загадку, о которой не подозревали гимназические преподаватели.

Если поведение названного ученика было вполне приемлемым и успехи по большинству предметов — хорошими, даже отличными, то зато по истории во всех семестрах красовались тройки. Увенчался тройкой и годовой результат учения десятилетнего гимназиста. Казалось бы, что тут особенного? Мало ли кто не любит историю, кому она не дается!

Занятность этого факта станет очевидной, если сказать, что все эти тройки схватил будущий действительный член Академии наук СССР и Академии наук Армянской ССР по отделению истории! Учитель истории вряд ли мог себе представить, что троечник Борис Пиотровский в конце концов заметно исправит

свое отставание и... откроет древнее государство Урарту.

Стремясь покороче рассказать о себе, один известный писатель построил свои автобиографические заметки на сплошных цифрах. Серьезная информация перемешана в них с юмором, да и трудно скромному человеку без шутки писать о самом себе. Если воспользоваться таким лаконичным приемом для рассказа хотя бы о некоторых обстоятельствах жизни Бориса Борисовича Пиотровского, то получится вот что.

51 раз отправлялся в археологические экспедиции, результаты которых далеко продвинули научные знания о культуре народов, населявших территорию нашей страны.

Им написано около 150 трудов, в их числе — 10 крупных научных монографий.

Ученый стал за последние десятилетия почетным членом или членом-корреспондентом 10 иностранных академий, институтов и обществ (Институт египтологии Карлова университета в Праге; Французская академия надписей и изящной словесности; Британская академия; Баварская академия наук; Делийский университет и другие).

Эрмитаж он посещает 55 лет — с тех пор, как там открылся отдел древностей, в штате Эрмитажа работает 47 лет, 14-й год он во главе музея.

...Любознательность и воображение молодого ученого Пиотровского устремились к еще полуполюгендарному государству Урарту. Оно существовало на территории нынешней Армении 26—29 веков назад, лет за шестьсот — девятьсот до нашей эры. Где-то в каменистой толще ждали своего Магеллана древние крепости, улицы, кладовые, мастерские, редкостные изделия искусства и быта.

На тщательное изучение местности, археологическую разведку, топографические исследования, составление плана и программы работ у Б. Б. Пиотровского, приехав-

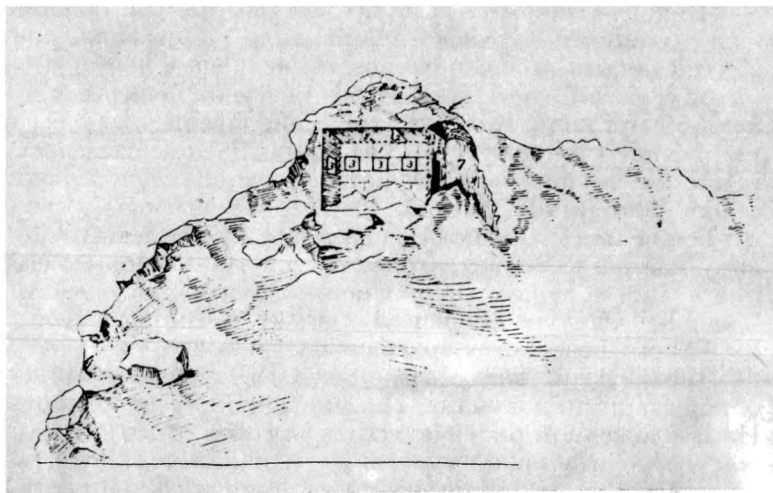
шего в Армению в 1930 году, ушло девять лет. Только в 1939 году начались раскопки.

Местом действия стал Кармир-Блур — Красный холм, находящийся на северо-западной окраине Еревана.

Для того, чтобы пробиться в толщи земли и времени, к древней цитадели государства Урарту, возникшего 29 веков назад, потребовалось 29 сезонов. Почти тридцать лет кропотливой работы, трудностей, успехов и неудач — такова грандиозная археологическая эпопея, сделавшая культуру древнего государства достоянием науки.

Ученый, оснащенный огромным запасом знаний и опыта, читал следы давно отшумевшей жизни, давно исчезнувшей культуры, как раскрытую книгу. Он разгадал, например, чем был занят привратник у главных ворот крепости в ту минуту, когда началось нападение скифов — вырезал из оленьего рога голову грифона. На предметах из металла и дерева Пиотровский прочел драматическую повесть расцвета и падения урартской крепости. Скифы подожгли цитадель. Огонь пощадил многое: сосуды для вина и глиняные чаши с ячменем, пшеницей и просом; оружие и ювелирные украшения; письма и указы урартских царей; даже некоторые деревянные балки перекрытий. Но, пожалуй, самое удивительное в этих находках — цветок гранатового дерева. Он лежал на большой глубине, под слоем кирпичей, в пространстве, непроницаемом для воды и воздуха: невредимы чашелистики, тычинки и пестики, опали только лепестки. Изумительный, нежный цветок вернулся к нам из прошлой эры. Его пропитали синтетическими смолами, и теперь он сохранится на века, как чудо, как символ поэзии сухой, казалось бы, науки археологии.

К сорок первому году был собран обширный материал для книги и докторской диссертации о найденном древнем государстве. В октябре сорок первого года заместитель начальника пожарной команды Эрмитажа



Гробница в скале у поста Алишар. Рисунок из анонимного письма 1859 г., найденного в архиве Эрмитажа

Б. Б. Пиотровский написал первые страницы своей капитальной книги «История и культура Урарту». Он писал во время бомбежек и обстрелов ровным, каллиграфическим почерком, писал, как обычно — почти без помарок и исправлений: мысли и факты давно и прочно сложились в стройную систему.

А вещи, добытые из недр Кармир-Блура, Борис Борисович всегда считал наиболее древними памятниками ушедшей культуры.

4.

В любом архиве бывают развалы — бумаги, не разобранные и не нашедшие пристанища в том или ином разделе, случайные или непонятные документы, которые ждут открытия и объяснения.

Именно в таком развале архива Эрмитажа и обнаружил советский археолог Александр Александрович Иессен письмо на французском языке. Речь в нем шла о находке какого-то клада. И дан рисунок пещеры, где клад обнаружили. Каждое помещение внутри скалы было на рисунке тщательно пронумеровано. Зато не оказалось в письме ни подписи, ни даты — странное и довольно старое анонимное письмо, написанное по-французски.

Тем не менее, оно показалось Александру Александровичу настолько значительным, что он тут же принес его одному из ведущих специалистов Эрмитажа в области древних культур Борису Борисовичу Пиотровскому, известному советскому археологу.

Пиотровский внимательно вглядывался в случайно обнаруженный документ. Письмо походило на рапорт. На приложенном рисунке — скала, высотой около 250 футов, расположенная на равнине за нашей границей, в двух верстах от казачьего поста Алишар. В четверти версты от подножия скалы протекает Аракс... Пещера открыта курдами из племени джалали, когда они расположились лагерем у подножия скалы. По указанию какого-то муллы они сместили большие камни с вершины кряжа и открыли три больших отесанных камня, которые образуют крышу камеры № 1. Камера оказалась засыпанной мелкой землей. Расчистив камеру, они открыли семь квадратных ниш. В каждой нише находился сосуд. Затем была обнаружена дверь. Она вела в другую камеру — № 7. В камере № 7 найдены все предметы, отправленные в Петербург...

В Петербург?.. Анонимное письмо становилось всё более интересным!

«В камере № 7 находится несколько шариков от четок и несколько бронзовых обломков в форме змеиных голов. Нельзя заключить, чтобы это была гробница, так как там не было никаких признаков гроба или скелета, а скорее всего это было место, где прятали сокровища...»

— Борис Борисович, уж не о тех ли вещах идет здесь речь, которые хранятся у нас в Эрмитаже и поступили в посылке, присланной с Кавказа? — высказал предположение А. А. Иессен.

Пиотровский знал, что в 1859 году в Эрмитаж была кем-то доставлена коллекция древностей. Она состояла из девяти бронзовых предметов: ручки от котла в форме птицы с человеческим торсом, пластинки со скульптурной головкой быка, также служившей украшением котла, части подставки в виде бычьей ноги, трех колокольчиков, двух бляшек конского убора и обломка ручки сосуда или браслета.

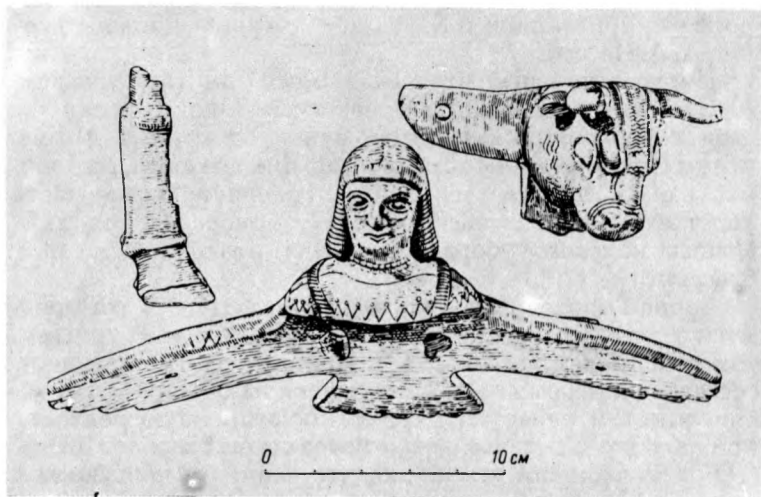
Борис Борисович решил заново обследовать эти предметы и историю их поступления в Эрмитаж. В третьем томе рукописного каталога Г. Е. Кизерицкого (этот каталог составлен в первые годы нашего века на немецком языке) Пиотровский обнаружил запись, посвященную редкостной находке. Ссылаясь на еще более старый каталог Жилия (1860) Кизерицкий утверждал, что вещи эти поступили в Эрмитаж в 1859 году и даже сообщал от кого: от генерал-майора Николая Колюбакина!

Откуда же узнал об этом Гандольф Егорович Кизерицкий, бывший магистр филологии Дерптского университета, а в момент составления каталога — старший хранитель эрмитажного отдела греческих и римских древностей? К какому времени принадлежат бронзовые предметы из посылки неизвестного? Был ли этот неизвестный отправитель Колюбакиным? И кто автор французского письма?

Б. Б. Пиотровскому предстояло найти ответы на эти вопросы.

5.

В этом рассказе пересеклись казалось бы несовместимые человеческие пути и интересы.



Предметы из гробницы у поста Алишар: бронзовые украшения котлов и ножка подставки. Рисунок

В архиве Эрмитажа обнаружилось письмо на французском языке без подписи и даты. Но вокруг него неожиданно и осмысленно сгруппировались совершенно разнородные обстоятельства: биография генерала Колюбакина, который мог бы так и остаться в энциклопедии Брокгауза и Ефрона лишь видной фигурой кавказской военной администрации середины девятнадцатого века; литературоведческие исследования вокруг романа Лермонтова «Герой нашего времени»; деятельность академика Б. Б. Пиотровского, его интересы, связанные с древнейшим государством Урарту; даже мои собственные школьные годы... Французское письмо всё это соединило, спланило воедино и подготовило открытие академика



Предметы из гробницы у поста Алишар. Фотография

Пиотровского: он воссоздал и стройно объяснил историю и значение девяти старейших экспонатов Эрмитажа.

Внимательное знакомство с текстом письма позволило Борису Борисовичу обнаружить заблуждение писавшего. Курды проникли именно в гробницу, в древнее захоронение, высеченное в скале. Кроме зарисовки скалы в письме имелось также изображение одного сосуда с отверстиями на плечиках и глиняной пробкой, что указывает на возможность определения этих сосудов, как урн для праха покойных.

Пиотровский давно, разумеется, знал труды крупнейшего европейского египтолога Генриха Бругша. Теперь он обратился к мемуарному наследию ученого. И оказалось, что в 1860 году, через год после событий у пограничного поста Алишар, в Тегеран через Закавказье проезжало прусское посольство — его секретарем и состоял Генрих Бругш. Он вспоминал в книге о встречах с Колюбакиным, о том, что даже останавливался у него, и особо отметил поразивший его блеск французской речи генерала. Встречался Бругш и с городничим Нахичевани Н. Н. Квартано — этот человек владел многими европейскими языками, в том числе тоже французским. Но самое удивительное ждало Пиотровского впереди. Оказывается, городничий Квартано подарил Бругшу... бронзовую ножку-подставку в виде бычьей ноги. Пиотровский был поражен: ножка в точности соответствовала той, что была найдена в скале над Араксом и хранилась в Эрмитаже! Их происхождение, несомненно, совпадало. Теперь и без знаменитой дедукции Шерлока Холмса становилось очевидным, что посылка из Эривани в Петербург шла через Квартано, и что один — или несколько? — предметов из нее он оставил себе на память.

Итак, посылку, несомненно, отправил Колюбакин — через своего подчиненного Квартано. Автор анонимного французского письма — один из них.

Теперь предстояло установить, к какой эпохе относятся девять замечательных предметов из колюбакинской посылки. Бругш приписывал эти вещи ассирийцам. В каталоге Жилья (1860) они описаны, как сасанидские. Пиотровский чувствовал, что присланные предметы значительно более раннего происхождения.

И вот перед ним на столе — один из трех находившихся в посылке колокольчиков. Его поверхность покрыта слоем вековой пыли. Ее надо отмыть. Пиотровскому не раз приходилось расчищать старую бронзу. На этот раз его ждала неожиданность. Когда сотрудники эрмитажной лаборатории вручили Борису Борисовичу очищенный колокольчик, ученый увидел на его поверхности... клинопись.

На бронзе клинописью было начертано имя урартского царя Аргишти I.

Это стало важным открытием. Точный дубликат такого же колокольчика имелся среди собственных урартских находок Пиотровского.

Более ста лет назад, когда тогдашний хранитель Эрмитажа принимал и описывал древние предметы, доставленные из скалы над Араксом, ему не с чем было сравнивать их в собрании музея. Не имелось в Эрмитаже предметов такого возраста. Отсутствовали аналоги. Не мог старый хранитель подозревать, что на бронзовом колокольчике алишарской коллекции под слоем патины и пыли содержится клинописная надпись, что ее откроют через 94 года после того, как он положит колокольчик в витрину отдела древностей. Но даже если бы эта клинопись не была тогда скрыта от взора хранителя, он не смог бы прочесть ее и соответственно не определил бы происхождения бронзовых экспонатов. Потому что никто в то время не смог бы перевести эту короткую однострочную надпись, состоящую из треугольников и неведомых значков.

Это сделал Борис Борисович Пиотровский. И тогда посылка Колюбакина сразу приобрела новую высокую

научную ценность. Присланные в ней предметы оказались первыми из известных памятников культуры Урарту в Эрмитаже.

Бронзовый колокольчик забытого и вновь открытого государства древнего Востока через многие века возвестил о своем ушедшем народе.

6.

В апреле 1863 года кутаисские князья давали генералу Колюбакину прощальный обед — старый генерал возвращался в Москву. Почетного гостя и его жену чествовали с восточной пышностью. Старейшины произносили длинные и красивые речи и тосты, желали Николаю Петровичу долгих лет счастья и здоровья, пили из рогов старое, ароматное вино. Когда чета Колюбакиных покидала пиршественную залу и садилась в коляску, Николай Петрович увидел, что город в его честь иллюминирован. Кавказцы провожали своего русского друга от всей души.

Они ценили и благодарили его за неподкупную честность. За деятельное стремление благоустроить край. За доброту и справедливость. За мужество и бесстрашие перед лицом любой опасности.

И только за одно никто не благодарил Колюбакина — за его посылку в Петербург, оказавшуюся бесценным и бескорыстным даром национальной сокровищнице культуры.

Рассказы о вспыльчивости этого человека пережили его самого и всегда будут сопровождать каждое упоминание его имени. А спасение и отправка в Эрмитаж урартских сокровищ запечатлелись лишь в анонимном письме, написанном по-французски и надолго затерявшемся в эрмитажном архиве.

И цитадель, спаленная скифами, схоронив в земле следы своей истории и культуры, сосуды с вином и соцветия трав, трупы своих защитников и лопаты гра-

бителей, перестала существовать. После разрушения крепости жизнь в городе не возобновилась. Была уничтожена ирригационная система, и в город перестала поступать вода. Местность стала пустынной. Земля и песок начали замечать древние сооружения, превращаясь в Красный холм, Кармир-Блур...



астоящее
время
(окончание)

Мне довелось рассказать в этой книге лишь о немногих людях — ученых, исследователях, архивистах, собирателях, работающих для того, чтобы проникнув в прошедшее, заставить его служить настоящему и будущему. Но таких людей — множество. О результатах их кропотливого труда узнают обычно одни лишь коллеги и специалисты. Мне хотелось, чтобы живые события, спрятанные за стеной научного исследования и специальной терминологии, хотя бы в небольшой степени стали достоянием неспециалистов; чтобы события книжного мира дошли до тех, кто любит книгу, испытывает интерес к ее истории, хочет и имеет право знать, как прошлое оживает для будущего.

Люди нередко остаются в душе детьми, и в этом, возможно, одна из драгоценнейших черт личности. В детстве мы беспрестанно спрашиваем взрослых: почему? Став сами взрослыми, обычно перестаем задавать этот вопрос другим, то ли стыдясь своей неосведомленности, то ли утрачивая интерес ко многим отраслям знания, отдаленным от нашей повседневной работы. Мы бываем слишком заняты своим прямым делом, чтобы вдруг взволноваться вопросом, какие редкостные книги стоят в собрании старейшего ленинградского коллекционера? Что стало с тем или иным архивом известного исторического лица? Кто и как раскрыл псевдоним неведомого автора и тем самым ввел в литературный обиход новое имя? Все ли письма наших классиков, опубликованные в собраниях сочинений, правильно поняты и прокомментированы, и какие события возникают за их строками? Куда подевалась личная библиотека национального гения Рос-

сии Михайло Ломоносова, а вместе с нею — его мысли и замечания по многим отраслям науки? А если нашлась, то где и каким образом? И что, к примеру, происходит сегодня в Эрмитаже, за его тяжелыми дверьми, куда посторонним вход воспрещен и где тоже есть архив, а в нем — рукописи и книги? Не происходят ли и там открытия и научные перевороты?

Есть еще множество других вопросов, которые я мог бы задать за вас, читатель, но уже не смог бы ответить на них в этой книге. Оставим их до другого раза. Литературная и научная жизнь, как и жизнь вообще, — бесконечна. И, если посчастливится, мы встретимся снова и поговорим о временах и нравах, о замечательных людях, которые терпеливо и скромно делают свое удивительное интересное дело в нашем настоящем времени.

Настоящее время всех этих старых книг, писем, рукописей, о которых я рассказывал, — будто свет, пришедший из глубин минувших эпох. Физики и фантасты уверяют, что именно пучок света понесет нужную нам информацию к другим мирам — ничто пока не превосходит его в скорости движения. А мне сквозь эти жесткие листы бумаги, покрытые рыжими «лисыими» пятнами — неведомой загадкой, так и не разгаданной учеными XX века, — видится циферблат старых часов. Давно потемнел этот циферблат. Но исправно работает механизм, вращаются колеса и колесики, упорно распрямляется пружина. И стрелки, путь которых долог — от прошлого к будущему, и короток — всего 360 градусов по окружности, снова и снова показывают Настоящее Время, способное, следуя за нами повсюду, оставаться неизменным: 2 часа 45 минут пополудни — умер Пушкин; 4 часа утра — началась война; полдень — родился твой сын или окончена книга...

Содержание

Настоящее время	4
Злополучный архив	28
Таинственный господин П. Ц.	56
Вокруг «Ревизора»	86
Судьба библиотеки Ломоносова	106
Анонимное письмо	130
Настоящее время (окончание)	148

**Юрий Лазаревич
Алянский**

А.Б.В. СНИМАЕТ МАСКУ

ИБ № 495

Редактор И. П. Глазырина
Художник В. Б. Переберин
Художественный редактор Н. Д. Карандашов
Технический редактор Г. Б. Андреева
Корректор Н. И. Балакирева

Сдано в набор 28.05.79. Подписано в печать 6.11.79. А-14627
Формат 70 × 108 $\frac{1}{32}$ Бум. офсетная. Гарнитура баскервиль. Усл.
печ. л. 6,65. Уч.-изд. л. 6,44. Тираж 50 000 экз. Заказ № 400.
Изд. № 2717 Цена 25 к.

Издательство «Книга», Москва, К-9, ул. Неждановой, 8/10.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.